

Б 10 15084

A521
к.р.



АЛТАЙ

1978

1

Электр



Ф. ТОРХОВ. «Котлован». Из серии «По Кулундинскому каналу». Орг. м. 1976

1015084

На первой странице обложки: литография А. ПИРАГОМОВА

A521
кР

АЛТАЙ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ АЛЬМАНАХ
АЛТАЙСКОЙ КРАЕВОЙ
ПИСАТЕЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Год издания XXX
№ 1 (83) 1978

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

- Георгий ЕГОРОВ. Одним словом — разведчики. Повесть. 3
Евгений ГАВРИЛОВ. Доброй ночи, мистер Кис. Венера. Рассказы. 51

ПОЭЗИЯ

- Леонид МЕРЗЛИКИН. Дело пятое. Поэма. 46
Геннадий ВОЛОДИН. Первозимок. «Здесь уж не до смеха...» Люблю грозу.
«Приди, Мария, зажги снега...» «Скоро лягут снега на поля и луга...» «Веселое
солнце смеется...» «Прижгло морозом яблоневый цвет...» «Протрубил за узкою
грядой...» «Выйду в детство...» «Рассветный час. Как слышно тишину...» «И вот
дохнул подталок с юга...» «Ураган-лесовал...» Стихи 56

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

- Борис РОЖДЕСТВЕНСКИЙ. Хлеб наш насущный. Очерк. 59

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

- Н. ЯНОВСКИЙ. Из малоизвестных рассказов Н. М. Ядринцева. 66
Н. М. ЯДРИНЦЕВ. На обетованных землях. Калмычка. 69

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

- Л. МУРАВИНСКАЯ. Стихия и люди 77



1015084

Зам. редактора Е. ГУЩИН

Редакционная коллегия:

И. С. КАЗАНЦЕВ, Л. И. КВИН, Ю. А. МАЙОРОВ,
Г. П. ПАНОВ, В. Н. ПОПОВ

АЛЬМАНАХ «АЛТАЙ» 1978. № 1

Художественный редактор Б. Луначев. Технический редактор М. Сафонова.
Корректоры А. Савикова, Л. Кайгородова.

Рукописи не возвращаются.

АГ 09008. Сдано в набор 3. I. 1978 г. Подписано к печати 3. II. 1978 г. Формат 84×108/16. Бумага тип. № 2. Усл. печ. л. 8,4. Уч.-изд л. 9,398. Тираж 10000 экз. Заказ № 1. Цена 40 коп. Алтайское книжное издательство Государственного комитета Совета Министров РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли — Барнаул, Ленина, 76. Производственное объединение «Полиграфист» управления издательств, полиграфии и книжной торговли крайисполкома — Барнаул, Г. Титова, 3.

Адрес редакции: Барнаул, 56, Ленина, 8. Телефон 95—4—21.



Георгий Васильевич Егоров родился в 1923 году в селе Тюменцеве Алтайского края. Работал грузчиком, трактористом, шофером. Во время Великой Отечественной войны командовал взводом конной разведки, участвовал в Сталинградской битве, в боях под Курском. После войны вернулся на Алтай, работал инструктором райисполкома в Топчихе, корреспондентом краевого радио и в «Алтайской правде». Первая книга, роман «Солона ты, земля!», опубликована в 1963 году. Член Союза писателей СССР.

Георгий ЕГОРОВ

ОДНИМ СЛОВОМ — РАЗВЕДЧИКИ

Год назад в Алтайском книжном издательстве вышла «Книга о разведчиках» писателя-барнаульца Георгия Егорова, знакомого читателям по популярнейшему в нашем крае роману «Солона ты, земля!».

«Книга о разведчиках», написанная о тех, с кем писателю пришлось бок о бок сражаться с врагами в годы Великой Отечественной войны, также полюбилась читателям.

Минувший год для Георгия Егорова не прошел бесследно. За это время он отыскал много своих однополчан. С некоторыми встречался на местах бывших боев, другие побывали у него в гостях на Алтае. Обо всем этом и пишет сейчас писатель, готовя новое издание «Книги о разведчиках». В предлагаемых сегодня главах читатель увидит знакомые фамилии разведчиков, проследит за их судьбой после войны.

ВСТРЕЧИ

I. В ГОСТЯХ У ИВАНА ИСАЕВА

Живет Иван в самой середине Сибири. Что с востока ехать к нему — далеко, что с запада не один день добираться надо. Середина эта — между Западной Сибирью и Восточной, вблизи от знаменитых шушенских мест. Живет он тихо, неприметно, работает кочегаром в школе. Живет и десять лет, и пятнадцать, и двадцать, и тридцать. И никому из однополчан в течение трех с лишним десятилетий не написал, не дал о

себе знать. И даже когда я наконец доискался до его адреса и послал ему письмо, а потом первое издание «Книги о разведчиках», то он и после этого не поспешил ответить.

В течение пяти месяцев я время от времени посылал в Идринское небольшие письма и ждал весточку. Но не дождался. Обратился в райком партии — может, Исаев болеет, может, он уехал из района, может... — мало ли что может случиться с человеком, которому уже перевалило за полсотни.

Секретарь райкома, ведающий вопроса-

ми идеологии, ответил, что мои волнения напрасны, ничего с моим однополчанином не случилось, что он жив и здоров, и что только сегодня он был у него на квартире и Иван Никитович обещал в ближайшие дни все-таки собраться и написать мне ответ на все мои письма и на книгу одним махом.

И он написал. Маху его хватило лишь на писульку, в которой даже намек нет на то главное, чего я ждал: прочитал ли он «Книгу о разведчиках» и как он ее воспринял и помнит ли он меня (всякое ведь может случиться за треть века, он разведчик легендарный, его все должны помнить, его нельзя не помнить, а я ничем особым не выделялся, поэтому он меня мог забыть. Тут обижаться не будешь — дело такое). Об этом-то он ни слова ни полслова.

Подумал: может, обиделся — вдруг в книжке что не так о нем написал, вдруг что перепутал — это ведь не исключено. Написал ему большое обстоятельное письмо о том, что такое художественное произведение, что такое литературный герой и что такое авторский домысел и так далее в таком же духе полдесятка страниц на машинке — чуть ли не реферат по литературоведению. И что дальше? А ничего. Опять словно не в почтовый ящик, а в прорубь опустил письмо — проходит месяц, второй, а из Идринского ни звука.

В это время вышло второе издание «Книги о разведчиках», значительно дополненное, в хорошем оформлении, с его портретом. Я послал и эту книгу Ивану — ну, думаю, может, этот подарок растормошит его. Жду опять месяц, второй... Наконец, когда дождался его письма — а дождался я его через три месяца! — то понял: эта переписка — напрасная трата времени на ожидания, она ничего не добавит к моим субъективным взглядам на наш взвод разведки. А мне уж очень хотелось к новому изданию книги заполучить хотя бы еще одну точку зрения на те же самые события, которые я описывал. И я понял: надо ехать к нему, не откладывая до весны, до встречи однополчан во Владимире-Волынском в праздник Победы.

И вот я еду. О глухомани здешних мест каждый знает с детства (мне так и хочется процитировать много раз цитированные письма Владимира Ильича Ленина о том, как трудно добираться в Шушенское, какое здесь бездорожье и какая глушь!). Поэтому я готов был буквально к самоотверженности. К тому же, что называется, масла в огонь плеснули... по телефону товари-

щи из Красноярска: они не советуют ехать на поезде до Абакана потому, что от Абакана на Идринское, мол, вообще нет дороги и там ездят далеко не круглый год и то лишь в случаях чрезвычайных, а мне советуют лететь на самолете через Красноярск на Идру — хотя признают, что вот уже несколько дней самолеты не летают из-за большого тумана, который распространяется от Красноярского моря.

Но выбора у меня нет — я уже на полпути, я уже в Новокузнецке, а утром следующего дня буду в Абакане. А там горком партии уведомлен о моем приезде и, видимо, до Идринского райкома партии тоже дозвонились из Красноярска — словом, как-нибудь кто-нибудь увезет.

Но все оказалось гораздо проще. Просто-таки гениально просто: в Абакане я добрался до автобусной станции, встал в очередь в кассу, купил билет, сел (немного погодя) в рейсовый автобус и через три часа был в Идринском без приключений и без никаких неудобств... Глухоманью-то и не пахнет!

Село Идринское большое, по-настоящему сибирское, рядом с современными домами сохранились и старые, с тесовыми рублеными заборами, глухими крытыми дворами, с воротами под двускатными крышами, подернутыми мохом. Еще до выезда, дома, посмотрел в Сибирской Советской энциклопедии, что основано оно в 1794 году. Значит, не изнеможденные засухами да безземельем переселенцы столыпинских времен, а исконные сибиряки, люди неукротимые, осевшие в этих местах после пугачевской войны вдали от глаз царских опричников закладывали это село — вот от каких корней идет род Исаевых!

От райцентра до поселка, где живет Иван, осталось семь километров. Конечно, можно уехать и сейчас, на ночь глядя. Но стоит ли? Если я заявлюсь сейчас, то это наверняка всю ночь мы с ним спать не будем — будем без конца вспоминать, разговаривать. А после такой дальней дороги — тяжело. И я решил выспаться в гостинице.

Можно подумать, что я спал в эту ночь!

Как ни так! С полночи глазел в потолок. Ругал себя за такую «предусмотрительность». А потом начинал думать о том, получили ли Исаевы мою телеграмму, а то явлюсь завтра как снег на голову — надо бы пораньше, с запасом послать...

Но не только ругал себя, а и старался еще и представить нашу завтрашнюю встречу.

Жизнь все-таки интересная штука. Вот жил-жил — тридцать три года! — почти всю жизнь, и вдруг обнаружилось: совсем недалеко, считай, рядом живет твоя юность! Само собой разумеется, что все эти годы я представлял Ивана только прежним, только юным потому, что никаким другим его никогда не видел и вообразить его другим не мог. Вот и завтра словно перемотаю кинолентку в обратную сторону, вернусь назад, в сорок второй, в сорок третий годы. И, конечно, завтра утром я увижу его, восставшего из снежной метели приволжских степей, раскрасневшегося, без шапки, таким, каким он был в ту декабрьскую ночь сорок второго. Столько неиссякаемой силы в нем! Завтра все будет, как тогда. Даже поземка на улице метет и ветер хлопает где-то ставней, будто с передовой доносятся отдельные выстрелы. А Иван ползет в белом масхалате и совершенно не виден на снегу, если сейчас выйти за огороды...

Боже мой, и чего только не лезет в твою голову длинной-предлинной бессонной ночью!

И только одно не лезло мне в голову в ту ночь — узнаю или не узнаю я завтра Ивана. Я не сомневался. Я мысли не допускал, что человек может измениться до неузнаваемости, стать, по существу, другим! Такого быть не может...

А когда утром, уже из его, исаевской квартиры, ожидая Ивана с работы, увидел в окно подходившего к калитке мужчину на протезе, я остолбенел — этот темноволосяный человек с глубоко избороздившими лицо морщинами никогда не был Исаевым. Больше того, я убежден, очутись мы с ним за одним столом где-нибудь в доме отдыха или санатории, весь месяц просидели бы рядом, не подозревая, что не раз вместе смотрели смерти в лицо — вроде бы куда уж ближе быть!..

И только чуть позже — уже за столом, уже после пары стопок, после того, как я без конца, не отрываясь, смотрел и смотрел на него — в какое-то мгновение (именно в одно мгновение) вдруг исчезли Ивановы морщины, и я неожиданно увидел в сидевшем напротив пожилым мужике того самого Ивана Исаева, гладкого, крепкого, подвижного, не знающего, куда девать свою силу, того самого Ивана Исаева, с которым вроде бы вчера где-то сидели перед коптилкой в землянке около железной печурки, ели из одного котелка «шрапнель» с кониной.

— Вот теперь, Иван, вижу, что это ты! — радовался я. — Вот теперь ты похож!..

Только почему у тебя волосы темные? Были же белые?

— Ага. — Иван, раздумавшийся, держал неуклюже в щепотке вилку («Вилы ему в эту медвежью лапищу», — мелькнуло у меня), и глазами искал по тарелке что бы поддеть ею. — Ага, были белые, а потом темнеть, темнеть начали...

— По-моему, у тебя и глаза были другими, а? Кажется, голубыми...

— Нет. Глаза я не менял. Те и остались... А у тебя шея куда делась? Ты же был худющий и шея длинная? Где она?

— Шея, что ли? Салом заросла... А ты помнишь, как мы с тобой под Малой Россошкой полк поднимали?

— А как же!.. А разве это было под Малой Россошкой? Разве не под «Баррикадами»?

— Не-ет. А помнишь...

— Погоди. А где мы с тобой... Или это не с тобой?..

Конечно, третьему человеку с нами за столом делать нечего. Он бы ничего не понял!

— А ты почему на письма по столько месяцев не отвечал?

Иван приглушил свой басок:

— Знаешь, откровенно тебе сказать, грамотей я липовый, каждый раз просить надо кого-нибудь, чтобы написали... Ты хорошо сделал, что сам приехал — милое дело: и выпить можно, и поговорить...

— Ну ладно, прощаю. — Я был великодушно добр. — Ты вот что скажи: книгу-то прочитал?

— Признаться ежели, положила руку, — нет.

У меня даже челюсть отвисла.

— Ну ты дае-ешь! — Больше и сказать мне нечего было.

— Она по всему селу ходит. Я ее даже в руках не подержал.

— Ну и ну...

— Я тебе писал, чтоб привез еще штуки четыре...

— Привез. Шесть штук привез. В гостинице, в чемодане...

— Вот теперь прочитаю.

Потом, когда вылезли из-за стола, Иван предложил:

— Давай пройдемся по селу, проветримся. В котельную ко мне зайдем. А то давеча Анатолий Федорович, секретарь райкома, сказал, что привез тебя, я и не успел предупредить напарника, скорей домой. Зайдем сейчас, я ему скажу, чтоб подменил по такому случаю. И вообще обсудишь, как я работаю.

— Пойдем, Ваня, посмотрим. — Мне хотелось побыстрее «проветриться», вернуться и засадить Ивана за обстоятельные воспоминания перед микрофоном.

По улице волокла поземка, пронизывающая, с крепким морозцем. Я сибиряк. Я люблю нашу зиму и не боюсь морозов. Но этот февральский хиус чувствительно пробирал даже в зимнем пальто, которое я надевал только по случаю дальней командировки. А Иван шел в легонькой телогрейке, застегнутой на одну нижнюю пуговицу. На груди, на его широкой груди, стеганка не сходилась. Он шел без шарфа, как говорят, с душой нараспашку, в шапке, заломленной и сдвинутой на одну бровь (так ходил он и на фронте с оголенным затылком).

— Вань, тебе не холодно?

— Нет. Всю жизнь так хожу... А рукавиц не нашивал никогда. В любой мороз — понятия об них не имею. — Он остановился передо мной, повернувшись к ветру растегнутой грудью. — И вообще я не знаю, сколько во мне силы, предела ее не знаю.

— Ну уж прямо... — усомнился я.

— А чо, не веришь? — В глазах у него блеснули озорные искорки, дрогнули ноздри. Вспоминаю, он таким всегда был, когда затевал с кем-либо бороться. А бороться для него — хлебом не корми. Он и людей близких делит, по-моему, только на две категории: на тех, с кем он боролся, и на тех, кто не способен бороться... — У меня культя, — продолжал он, — всего лишь восемь сантиметров, и я всегда ходил на костылях, а не на протезе. И вот когда работал фуражиром на ферме, то во время сенокоса, когда настроение такое случалось, отбрасывал костыли, становился к скирде с вилами и целый день, бывало, метал сено. Ты знаешь, что это такое?

Если откровенно, не знаю — не помню, чтобы когда-нибудь метал сено, наверное, не приходилось. Но догадываюсь, что занятие это, несомненно, тяжелое, а чтоб к тому же на одной ноге — такого никогда не слыживал.

Мы зашли в котельную: котел как котел, труба как труба — дымит, гора угля. А я ишу здесь во всем что-то необычное — коцегар-то уж больно необычен!

Потом мы зашли в школу. В сельский Совет.

— Зарплату сегодня должны давать, — пояснил Иван.

Но зарплату в сельсовете не давали. Да и не шибко она ему нужна была в этот день. Не иначе, как просто хотелось пока-

зать сельчанам (да и начальству сельсоветскому) городского гостя, однополчанина, приехавшего специально к нему издали и через много лет.

Зашли в магазин — в обычное в каждом поселке место встреч, разговоров и пересудов сельчан. Часами стоят тут женщины да и мужчины, не знающие куда девать зимой время. Здесь — все новости.

Мы пришли в самое предобеденное время — перед тем, как всем разойтись по домам.

Затих магазин. Все уставились на нас с любопытством. Но спросить насмелился только один мужчина. Спросил громко:

— Что, Иван Никитович, родственник приехал? — И кивнул на меня.

Иван замешкался, не зная, как ответить, как сподручнее подать гостя. Я поддакнул раньше его:

— Да, родственник. — И уже просто, не подумав, добавил: — Брат.

Иван вскинул глаза. Посмотрел на меня обрадованно.

— Ага. Брат. — И как-то задумчиво сказал, скорее всего для себя: — Больше, чем брат...

2. ИЗ РАССКАЗОВ ИВАНА ИСАЕВА

В первый день

После обеда мы ушли в горницу. Сели на диван. Я боялся, что Ивана смутит микрофон — не у таких краснобаев при виде магнитофона деревенеет язык — и поэтому стал объяснять ему, что вся эта запись только для меня, что это нечто вроде моей записной книжки и пусть его это нисколько не волнует.

Но он и не думал волноваться. Он заговорил уверенно, неторопливо и довольно грамотно. При всей его, мягко выражаясь, литературной неопытности, речь у него емкая и образная. В этой главе рассказы Ивана Исаева почти не правлены. Они только в некоторых местах сокращены.

ИСАЕВ: Родился я в тысяча девятьсот двадцать третьем году. В сороковом окончил школу механизации. В сорок первом, когда уже работал комбайнером, началась война.

Нас, механизаторов, не призвали сразу в армию, дали возможность убрать хлеб. Я работал хорошо, перевыполнил государственную сезонную норму, за что получил, как сейчас помню, восемнадцать пудов хлеба в порядке премии. Мать получила — я уже на фронте был.

А в этот день как раз была суббота. У меня осталось четыре гектара не дожато — горючка кончилась в тракторе. Тогда комбайны были прицепные. Трактор остановился — ну и пошли по домам. Тракторист Ленька Фролов, который буксировал мой комбайн, со штурвальным жили в селе, пошли туда, а я жил в «Сибири» — на ферме, она «Майская» тогда называлась — я пошел к себе...

Пришел, помылся в бане, только прилег на койке, думаю, сейчас пойду в клуб — три километра идти туда, но дело молодое. Гляжу: вот тебе — на жеребце на легковом, на производителе, подъезжает конюх.

— Ну, Ванька, все. Поехали.

Котомка была уже собрана. Мать все там приготовила. Да-а... Это что же — тридцать шесть лет прошло? Надо же! А вот все помню до мелочи.

Приезжаем. Мой штурвальный и тракторист Ленька Фролов уже там, в райвоенкомате. Семьдесят человек нас там собралось. Механизаторы все.

Выстроили. Зачитывают кого в какое подразделение, в какой род войск. Хоть бы зачитывали там танкистов, артиллеристов, а то так себе — пэтээровцы, связисты, пулеметчики. А меня зачитали — знаешь куда? — в транспортную роту!.. Мне аж обидно стало. Так-то бы казалось, разве плохо? В тылу. Сытый и пешком не ходить. Но все равно обидно. Спрашиваю:

— А почему меня в транспортную роту? Я же механизатор! Давайте мне танк. В крайнем случае — артиллерию.

— Ладно, — говорят, — будешь станковым пулеметчиком.

А после как потаскал этот станковый пулемет — уж больно он мне не понравился. Хотя я и сильный был, но все одно молодой еще, только восемнадцать исполнилось. А потом питание-то у нас было колхозное, питались-то мы хорошо, а тут — на паек.

В общем, так: поехал я на фронт пулеметчиком, а в Новосибирске наш Отдельный истребительный сто четвертый лыжный батальон выстроили и давай сортировать. Там еще два таких же было отдельных лыжных. Номера их я не помню. Да и не интересовался. Интересоваться и без того было чем — кругом все новое. Я еще и железной дороги-то не видел. Истинно — не видел! всю жизнь здесь жил — откуда я ее увижу... Так вот когда сортировать стали, выстроили весь батальон, генерал-майор идет вдоль строя и всю мелкоту выбирает, и их тут же куда-то отправили. А потом встал посреди строя, спрашивает:

— Кто желает в разведку?

Тут наши деревенские ребята стоят и Ленька Фролов тоже — стоят и в другую сторону отвернулись. Я говорю, мол, пойдете. «Не-ет», — говорят. А я выхожу. Там еще ребята некоторые вышли, не один, конечно, я, но не из нашего района.

Потом в лагерях побыли еще сорок дней — Гороховецкие, что ли, назывались. У-ух там и войско было! Березовая роща. Обучали — вот там действительно обучали по всем правилам — за сорок дней растрясли всю нашу домашнюю требуху!..

И, наконец, в марте сорок второго мы приезжаем на Юго-Западный фронт под деревню Калиновку — там сильные бои шли.

Только прибыли на фронт — сразу в наступление. А перед наступлением ставят нам задачу: взять пленного! А среди нас настоящего-то разведчика не было. Мы не только подходы и отходы не пронаблюдали, а вообще местность не знали, не знали, куда мы идем. И вот прямо днем по балке и пошли. Но на наше счастье все так удачно получилось! Одним словом, помогла нам суровая зима и сильный ветер. Фрицы все поукутывались одеялами, шальями, ватниками и сидят в таких снежных укрытиях — помнишь, под Сталинградом они делали такие же, из снега выложенные? Вот и тут сидит он, укутавшись, а мы проходим мимо — цап его, голубчика, за шиворот, а он уж готов, почти замерз! Взяли и пошли назад. И без никаких потерь. Он сидел там в дозоре, наблюдать должен. А какое там наблюдать!..

Должно быть, он что-то рассказал нашему командованию полезное. В ночь — наступление. А нам приказ: пройти по балке с фланга и окопаться, чтобы в случае, если немцы пойдут в обход, мы бы не дали.

Шли наши хорошо. Красиво было смотреть — все молодые сибиряки, смелые. Лыжный батальон. Взяли Калиновку. А потом ихние танки вышли, как открыли огонь, да еще артиллерия, минометы — откатились наши на старые рубежи. Так обидно...

И вот так ночи три: возьмем — отступим, возьмем — отступим. Потом на четвертую ночь нам приказ: наступать вместе с пехотой и захватить еще пленного. Наступаем. Оторвались от пехоты вперед. Захватили одного зазевавшегося. А тут — танки. Пехота стала опять отходить из Калиновки. Мы — следом. И немца волокем. А снежок небольшой пошел. Трупы валяются и наши и ихние. Хоть и

ночь была, а луна нет-нет да выглянет, осветит, да и от снега светло. Вдруг вроде бы один пошевелился. Думаю: значит, кто-то живой — может, еще «язык» будет, а может, наш. Говорю ребятам, вы, мол, волонтеры немца, а мне что-то померещилось, я посмотрю.

Глядь: вроде русский и вроде живой, потому как теплый еще. Голова окровавленная и снег на ней. Все это смешалось — снег и кровь. Разговаривать с ним некогда. Взвалил на плечи, тещу. Танки-то подпирают, вразвалочку не пойдешь. Короче говоря, до балки добрались — там наши оканчиваются — санитаров разыскал, на волокушу положил. Санитары обтерли его — чтоб перевязать, значит. Думаю, дай посмотрю, кого хоть спас-то. Глянул — фу ты, язвы тебя! — а это Ленька Фролов! Тракторист, который таскал мой комбайн — в детстве выросли вместе и на фронт вместе взяли. Только он без сознания был.

Вот ведь как бывает! Как в картине... Поэтому, когда смотрю кино и такое показывают там, я верю — может такое быть. На войне все может быть.

Я: Ну, а дальше-то? Что с ним дальше — выжил он?

ИСАЕВ: Вы-ыжил! Только я его не видел больше. После госпиталя он попал в другую часть. Там его ранило еще... А мы к нему заедем. Сам поговоришь с ним...

Я: Так он жив?

ИСАЕВ: Жи-ив! В Идре живет... Первоклассный кузнец. На тракторе работать уже не может из-за ноги, не сгибается она у него. А в кузне стоял... В сорок третьем пришел он из армии.

В общем, на эти ночные атаки поизрасходовали людей, и отправили нас в Подмоскovie, за новыми. Там вот и сформировалась наша двести семьдесят третья дивизия. Видимо, эти сибирские истребительные батальоны и были в основе этой дивизии. Все лето формировались. В сентябре — под Сталинград. От Камышина пешком до Котлубани.

Страшное это место, Котлубань! Народу там полегло — и наших, и немцев — ужас как много. В первый же день командир нашего полка капитан Павленко посадил автоматчиков на танки и двинул на высоту — была там такая высота, много на ней полегло людей — и никто не вернулся, и он сам в том числе. Начальник разведки наш тоже в первый день погиб. Потом — командир взвода. То ли воевать не умели, то ли почему-то еще, но самый большой урон был в первые дни.

В это время и прибыл к нам в полк майор Мещеряков.

Вот с этого времени я и начал соображать немного — что к чему на войне. А до этого, как котенок слепой, тыкался на ощупь...

Но мне хочется рассказать об одном случае. Всю жизнь помню его до мелочи. Будто вчера это было около хутора Вертячьего. Нейтральная полоса была там узкая — не больше семидесяти метров. Сильные ребята забрасывали гранаты к немцам в окопы. У них там было хорошее укрепление — два дзота рядом на небольшом участке. А в них два пулемета. Как раз эти-то пулеметы и не давали нашей пехоте продвигаться. К этому времени нас, разведчиков, совсем мало осталось — человека четыре-пять. Не больше. Политрук — шестой. И вот командование решило собрать все, что осталось в полку, и захватить эту господствующую высоту — в основном эти два дзота для начала как ключ к высоте.

Вот, значит, собрали всех тыловиков — музыкантов, сапожников, химиков и всяких других обозников, в том числе и нас — всего человек семьдесят. Приходим ночью на наше эмпэ. Нам показывают: вот эти, мол, блиндажи надо взять. Взять и этим самым проникнуть к немцам в оборону. Смотрю: тут не семьдесят, тут семьсот человек посылай и всех покосят — идти прямо в лоб на пулеметы!

А рядом с этими блиндажами, недалеко от них, прямо напротив нашего эмпэ стоят два подбитых КВ. Один в метрах полсотни от нас, а другой за ним метрах в двадцати. Под тем вторым уже проходит немецкая траншея. Прямо под ним! Вот смотрю и думаю: а что ежели под этот ближний танк залезть? Шиш оттуда выкурят!..

Поделился этими соображениями с политруком. А он говорит:

— Пойдешь?

А почему, думаю, не пойти? Убить — так ежели в лоб на пулеметы наступать, наверняка убьют. А тут, глядишь, да и уцелеешь! Правда, шансов тоже мало, но тут хоть смерть на людях. Говорю:

— Ладно, согласен.

— Выбирай любого с собой.

А чего там выбирать — нас всего четверо или пятеро! Федосюк стоит, сержант. Ты его не помнишь? Звать его Ермак. Он с шестнадцатого года... Старшиной? Нет, старшиной он никогда не был... Так вот он здоровый был. Помню, он сначала меня по-

барывал. А потом я наловчился и — все, кончился его верх. Так вот он был, потом Сысик — это фамилия такая, имя его я не помню. Где-то он наших с тобой лет. Только поздоровше на вид. Сильный. Но на силу он меня не брал, когда боролись, а так вот, телом крепче был. Ну и еще кто-то один или двое были, теперь уж не помню.

Я посмотрел на всех и говорю Сысику:
— Пойдешь со мной?

Говорит:

— Пойду.

Тогда я говорю политруку, чтобы минометчики дали беглый огонь по переднему краю немцев, а мы в это время перебежим к танку.

Он позвонил по телефону. Говорят, сейчас сделаем. Потом, немного погодя, звонят: мол, не можем, потому что имеем только резерв боеприпасов на случай наступления немцев.

Плюнул я — с вашими порядками!..

— Пойдем, Сысик, так?

Говорит:

— Пойдем.

А там у немцев было понатыкано снайперов — головы поднять невозможно. И вообще видно все, что немцы делают, а им, конечно, видно, что у нас делается. Я говорю политруку: мы, говорю, будем ползти и оглядываться на вас, если поймете, что немцы нас заметили, то махните рукой, мы остановимся... А что там останавливаться — местность-то ты помнишь какая там, как на ладони, голову сунуть некуда — ежели заметят, уже не укроешься.

В общем, я пополз. За мной тут же сразу Сысик, по пятам — метра три-четыре от меня. Ползем, ползем. И вдруг я всей кожей почувствовал, что меня держат на мушке — бывает такое состояние. У тебя не было? Было?.. Так вот и я почувствовал. Э-э, думаю, была не была! Встал в полный рост. И Сысик тоже. И пошли мы с ним к танку шагом. Спокойно... Конечно, какое уж там спокойствие, так, для виду — просто не кидались туда-сюда. Немцы все повысовывались, смотрят на нас. Они, наверное, думали, что мы сдаваться идем. А мы доходим уже до танка — пятьдесят метров велики ли — и нырять под танк! Прямо под носом у них. Они даже опомниться не успели. А под танком окопчик выкопан. Правда, трупов много — когда бой-то шли кто-то уже пользовался этим укрытием. Автоматов там набросано, винтовок, диски автоматные. Мы все это раздвинули и устроились там, огляделись.

Огляделись: гранату им кидать в нас бесподручно — танк стоит боком к ним, катки гусеничные нас закрывают. Правда, и нам нельзя бросать. Но нас это не шибко волновало. А их-то, видать, шибко беспокоило. Они и гранаты бросали к нам, и из пулеметов стреляли, и из винтовок, и даже из пушек прямой наводкой били — и все бесполезно. Только в ушах звенело, плохо было. А КВ он же тяжелый — не опрокинешь. А горячее в нем сгорело. Он уже не загорится. Поэтому ох уж они лютовали! Перестанут стрелять, поговорят, поговорят, потом — как врежут снова! А что нам ихний пулемет! Одно, что могли — это подползти. Все-таки двадцать метров! А «язык-то» им тоже, наверное, нужен... Но мы промеж собой уговорились с Сысиком смотреть в оба, быть настороже, особенно когда ночь настала, а в случае чего... до последнего биться! Боеприпасов много, надолго хватит. Одним словом, в руки ни в коем случае не даваться — это само собой разумелось.

А ночь теплая, осенняя.

Перевалило за полночь. Стало тихо. Мы сидим, глаз не смыкаем (а спать и не хочется), смотрим и прислушиваемся — вот кажется мне, что в ночном сизу, с конями у себя дома на «Майской» ферме. Только пулеметы время от времени татакают, и пули трассирующие так задумчиво летят... На небе звезды. Что-то я на фронте ни до ни после этого случая не любовался звездами; а тут из-под хвоста танкового хорошо так видно черное небо.

Сысик говорит мне:

— Давай по очереди на карауле сидеть. А по очереди на небо смотреть.

Это он, значит, заметил, что я на небо поглядываю. Я говорю:

— Нет. Один может прозевать — двадцать метров переползут или просто броском в один миг, рта раскрыть не успеешь. Давай вдвоем смотреть. Скоро наши пойдут в атаку — часа в три, говорил политрук, как только немцы уснут.

— Ну ладно, — говорит.

Опять сидим.

— Мне, — говорит Сысик, — что-то так эта ночь напоминает нашу украинську — тепло и тихо, и звезды. У такую ночь в саду яблоки падают на землю...

— А у нас в Сибири, — говорю ему, — яблоки в глаза люди не видят.

А Сысик свое:

— Зараз — самое время. Эх, полежать бы под яблоней... А тут вот лежишь под танком...

И вот ночь пошла на убыль. Чернота стала самая густая. Слышу, двинулась наша штурмовая группа — шорох какой-то донесся, наверное, ползут. Мы напряглись. Автоматы нацелили прямо в амбразуры — как только пулемет татакнет, так мы сразу по длинной очереди ему в пасть.

И вдруг ракета взвилась. Я аж вздрогнул от неожиданности — почти рядом с нами пальнули ее. И пулеметы ихние даже не успели по одной очереди дать — мы как врезали из двух автоматов по амбразурам. И наши пошли. Здорово пошли. Особенно один там был из автоматчиков — впереди шел, смелый парень! Как вожак — впереди, а остальные — все за ним. Сам худощавый, вроде невзрачный, а как смело шел! Как он бросал гранаты!

Я: Слушай, а это не Петька Деев? Ты помнишь Деева? Он потом был у Атаева ординарцем.

ИСАЕВ. Нет. Этот тут и погиб. Ух и жалко парня! Хороший бы из него разведчик получился. Натура-альный! Хорошо он поднял группу и вел красиво...

Блиндажи взяли. Как по-писаному. Тут и мы вылезли с Сысыком из-под танка. На нашу сторону вылезли, чтоб танк нас закрывал от немцев. Сидим, смотрим, как ребята закрепляются в тех блиндажах. Уже рассвело. Стрельба затихла — и пулеметная, и автоматная. И вдруг прилетела мина, что ли, — я толком и не понял — и упала рядом. Разорвалась. И Сысыка осколком поперек живота... Я вот сидел напротив, в метре от него. Меня хоть бы царапнуло, хоть бы мелким осколком. Нет. А у него кишки в бок так и полезли. Он на меня смотрит так удивленно, и руками кишки собирает. Разве соберешь... с землей ведь. Подбирает... а все в крови... с землей. А немец начал из артиллерии бить, из минометов — уже издали, с тылу. Ну а потом с флангов все равно бьет перекрестным из пулеметов — видать, хватился.

А Сысык стал белеть, белеть — сколько там прошло — три-четыре минуты, свалился. Готов.

А я так был ошарашен всем этим — черт-те как это случилось, до сих пор не могу сообразить — встаю и в полный рост пошел обратно. Хоть бы бежал до своего энкаэ эти пятьдесят метров, а то ребята потом говорят, шагом шел... А кругом снаряды рвутся... А я будто заговоренный — ни единым осколочком не задело...

Иван надолго замолчал. Кассета на магнитофоне крутилась, ежесекундно напоминающая, что время идет, жизнь идет — время уходит и жизнь уходит, «беломорина» в его заскорузлых пальцах обросла длинным сизым стержнем пепла. Стержень тоже растет, растет — и вдруг обломился, серая пепельная труха рассыпалась по штанине, голубенькая струйка дыма от угасающей папиросы, чуть колыхнувшись, оторвалась и растворилась. Умерла. Иван растер в пальцах папиросный мундштук, бросил его к печной топке, глубоко вздохнул, решительно поднялся. Потом отцепил с рубашки микрофон.

— Хватит. Пойдем на улицу. Подышим свежим воздухом.

В ограде стоял занесенный снегом чуть ли не по самую крышу новенький «Запорожец».

Чтобы хоть немного отвлечь Ивана, спросил:

— Почему гараж ему не построишь?

А он словно не слышал. Постоял, постоял, дыша не свежим воздухом, а дымом от новой папиросы. Вздохнул.

— Почему вот так? Много ребят погибло при мне. Очень много. А вот как начинаю про Сысыка рассказывать — не могу... И еще помнишь, Гоша, на Курской дуге погибли наши разведчики?

— Это которых немцы штыками докалывали?

— Ага. Вот их тоже до сих пор — тридцать лет прошло, а будто рана все еще в груди не заросла. Я тогда больно уж об них убивался, о тех ребятах. Долго убивался. Плакал. Прямо натурально плакал не раз. Даже Мещеряков, помню, заругался на меня: «Ты что, говорит, распустился?! Война идет, а ты слюни распустил...» А сам тоже плакал по ним — я точно знаю. Только скрывал...

Мы постояли на морозе довольно долго. По-прежнему тянула поземка, напоминающая чем-то зиму сорок второго. Если закрыть глаза да встать спиной к ветру... нет, лучше лечь в сугроб и смотреть на ветер, то... Нет. Все равно не похоже. Ночью, когда кругом тишина и где-то приглушенно, как отдаленные выстрелы, постукивает ставня, а в голове ворох полудрежных мыслей, тогда еще, может, и похоже...

Иван воткнул в сугроб окурочек.

— Весной, помнишь, когда мы стояли в балке Коренной около Городища, мы ходили хоронить тех, кто погиб осенью на Котлубани? Ты ходил?

Я старался вспомнить. Но ничего, что

могло бы быть связано с похоронами, в голове не обнаруживал. Бесследно они бы не прошли, такие похороны.

— Нет, Вань, по-моему, я не ходил. Не был я там. — И вдруг (нет, не вспомнил) догадался: — Слушай, да я в это время, кажется, в санчасти лежал с ногой. У меня осколок в ноге был. Я долго с ним ходил, а потом рана стала гноиться и меня положили.

— Наверное. — Иван проговорил задумчиво. В мыслях была не моя рана. — А я ходил специально Сысика хоронить. Так возле окопчика нашего он всю зиму и пролежал. Танки-то уволокли, должно, еще осенью в переплавку. Насилу нашли мы с Атаевым это место. Мы с Атаевым ходили. Выкопали с ним маленькой саперной лопаткой могилу — а земля-то в Сталинграде помнишь какая! — и похоронили его. Автомат его положили с ним рядом. Не разрешено с оружием хоронить, но мы с Атаевым сделали исключение для Сысика. Воин должен лежать с оружием! Я еще хотел и того парня из автоматчиков с ним же похоронить, но не нашел — разве узнаешь его через столько времени, тем более, что я его один раз только и видел-то и то ночью. А может, он и не убитый, может, раненый упал тогда...

Мы зашли в избу продрогшие. Место на диване показалось уютным.

— Так ты спрашиваешь, почему гараж не построю «Запорожцу»? Надоело. Понимаешь, у меня жизнь как-то не по пути пошла. Может, я виноват — не сумел на хребтину ей угодить, а угодил под копыта. Она меня хочет смять, стоптать, ну а я держусь. Не всегда, правда, удается. Два раза неудачно женился. Первый раз — сразу после войны. Прожили двенадцать лет. Дом построил хороший, скотину завел. Не получилось жизни. Все оставил. Ушел. Сыну оставил. Не жалко. Сейчас ему уже тридцать лет. Живет в Средней Азии. Второй раз женился — опять дом построил, хозяйство завел. Девять лет прожили. Только не получилось жизни. Не крохобор, не мелочный. Все оставил ей. С одним узелком ушел — с бельишком. Ну а теперь дадут мне казенный.

Вечером пришла местная Советская власть — председатель и секретарь сельского Совета, вполне современные молодые (даже очень молодые для государственных должностей) женщины в брючных костюмах и довольно свободно разбирающиеся в том,

что такое автор произведения, написанного от первого лица, и что такое лирический герой. Невольно вспомнилось, что когда в срок пятом я работал инструктором райисполкома, то у нас в одном из сельских Советов был председателем совсем неграмотный человек, расписаться не мог.

Сидели все за столом и делали пельмени. Настоящие сибирские пельмени в самом центре Сибири. Разговаривали о всяких делах. Женщины поворачивали разговор на литературу — в таких случаях почему-то считают, что с врачом сподручнее всего говорить о медицине, с литератором о литературе — а я старался перевести речь на местные темы. Мне действительно интересно было услышать об условиях работы нынешних председателей сельсоветов — как-то не приходилось встречаться с ними давненько уж. Разговор катился. А я смотрел на Ивана (он пельмени не делал, говорит: «Мои пальцами только подковы сгибать, а не тесто склеивать»). Смотрю на него и думаю: боже мой, кто из нас мог сказать там, в сталинградских степях, где всю зиму выла пурга и ни днем, ни ночью не прекращалось татаканье пулеметов, что через столько лет — через треть века! — будем мы сидеть в центре Сибири и лепить пельмени!

Все-таки интересная штука — жизнь! Сколько в ней неведомого.

Во второй день

Проснулся я от какого-то резкого стука — как потом догадался, это упал ухват около печки. Глянул на часы (на всю жизнь фронтовая привычка спать при часах) — пять утра! В передней комнате горит свет, топится печь, доносится хриловатый сдержанный басок Ивана:

— Понимаешь, радость-то какая! Вот и ко мне жизнь опять повернулась лицом. Ни к кому однополчане не приезжали, а ко мне вот приехал. Специально приехал попроведать. Это ж понимать надо! Вот оно, счастье... Вчера говорит в магазине: братья, мол, мы...

Такая непосредственность, детское прямодушие этого человека очень растрогали меня. Я отвернулся к стене, натянул на голову одеяло. Больше всего в этой нашей встрече меня удивило то, что он не так обрадовался (по-моему, он вообще не обрадовался) появлению книги о нем, как тому, что я приехал...

После завтрака мы опять ушли в гору. Иван вспоминает былое охотно, рас-

сказывает неторопливо, словно чувствует, что рассказывает на многие годы.

ИСАЕВ: После того, как тебя, Гоша, ранило, с Бежицы и началось самое тяжелое.

Около Бежицы немец задержался. И хорошо задержался. Никак не могут его сдвинуть. А время было... Я не помню какой это был месяц, но нам вместо зеленых маскхалатов выдали желтоватые. К осени дело-то было. Ни в одном полку разведка не может взять «языка» — хоть ты что делай! И дивизионная — тоже. Ни одна! А «язык» нужен, как воздух. И мы каждый раз приходим тоже с пустыми руками. Как идти докладывать — так мне аж муторно.

Ты представляешь, что значит прийти и докладывать: «Ваше приказание не выполнено»? Язык не поворачивается — не тот, который пленный, а который во рту...

Командование недовольное. Плохо, говорит, действуете. Даже такие упреки бывали: вот, мол, мы вас награждаем, а «языка» взять не можете...

А как его возьмешь? Я прощупал метр за метром весь передний край — взять «языка» невозможно — проволочные заграждения, минное поле и усиленная охрана... Ну что тебе объяснять! Чувствую, ребята положу всех, а «языка» не возьму все равно. А ведь потом разведчиков подобрать из пехоты не так-то просто...

А потом как-то случайно надыбал я стык между ихними частями. Доложили Мещерякову. Тот вызывает меня. Смотрит на карту и ставит мне задачу:

— В трех километрах отсюда проходит шоссе, ее пересекает проселочная. Вы должны достигнуть этого перекрестка и окопаться, протянуть туда телефон. По этому кабелю придет Федоров со своим батальоном.

Комбат — один, Федоров должен будет потом ударить в стык немецких частей и прорвать оборону — этого мне Мещеряков не говорил, я сам понял. Все-таки не первый год воевал, соображал уже.

Придали в мое распоряжение станковый пулемет с расчетом во главе с офицером и двух связистов с катушками. Прошли мы семьсот метров за нашу передовую. Встречаю я ихнюю вторую оборону. Вижу, укреплена хорошо. Лес вырублен лентой метров на семьдесят—восемьдесят шириной — сектор обстрела. А с той стороны дзоты, блиндажи. И только одна особенность: в этом секторе оставлено несколько деревьев самых толстых, в два обхвата. Зачем остави-

ли их — не пойму. А остальные деревья спилены, сучья обрублены.

Звоню Мещерякову: так, мол, и так, товарищ подполковник, вижу впереди себя вторую укрепленную линию, кабеля размотал, дескать, семьсот метров, а точно сказать, где нахожусь, не могу, потому как вижу только кусочек сверху. Лес ужас какой густой...

Он даже обиделся на меня, Мещеряков-то, — что, мол, ты за разведчик, ежели сориентироваться не можешь!

На мое счастье, попала на глаза мне яма — когда-то был дом лесника. Он по карте-то посмотрел и все понял сразу. Говорит: жди Федорова.

Ну мы расположились, наблюдаем. Первой прибыла конная разведка. Ты помнишь Гусева, командира конного взвода разведки?.. Потом слышу — славяне идут — гремят котелками. У нас ведь разведчик пройдет — былинка не хрустнет. Подождал, пока пехота уgomонилась — заняла оборону.

И вдруг вижу: с той стороны просеки семь немцев на двух лошадях пожаловали. Телег нету, а одни передки. Знаешь, как лес возят? Комлем кладут на передок, а вершина тащится волоком. Вот они на двух таких передках на середину просеки и пожаловали. Поскидывали мундиры, рубашки. Быстро погрузили бревна, и пятеро поехали обратно, а двое остались.

Тут такая картина. Вот смотри: значит, сидят они на одном бревне двое, один лицом в свою сторону, к себе в тыл, а второй рядом с ним, только лицом уже в нашу сторону. Сидят курят и переговариваются.

Говорю Гусеву:

— Занимай оборону здесь со своей кавалерией. В случае чего — прикроешь нас.

А сам подзываю Рассказова и — был у нас еще не то Забережный, не то Набережный, Сенькой звать. Хороший парень. Корявенький еще немножко. Мы с ним боролись — сильный он. Так вот, подзываю Рассказова и его. Говорю:

— Пойдем сейчас за ними, вот за этими фрицами.

Ну а дальше вот как. Представь: вот сидит он курит, который к нам лицом. И тот курит. Но тот нам без нужды — он лицом к себе, в их сторону. Надо на этого смотреть. Вот он, значит, сидит — а они между собой разговаривают — а когда надо курнуть, рука у него поднимается с папирсой и одновременно у него поднимается голова — значит, он смотрит вперед. Пока он поднимает голову я — р-раз за толстое дерево! А ребята — Рассказов и

Набережный или Забережный — тоже следят, и р-раз за другое дерево. Замерли. Не только мы, но и гусевские, наверное, не шевелятся. Автоматы у всех — тем более у меня — наготове. Да-а...

Теперь смотри дальше. Вот он курнул, у него опускается рука с папиросой и одновременно голова опускается — он обратно смотрит себе в ноги. Я в это время перебежку делаю. А иду на пальчиках. Как балерина... А сам с него глаз не спускаю. И вот уже остались последние три-четыре метра. Еще дал ему раз курнуть, и только он опустил голову — я тут как тут. Бесшумно. Не дыша. Стою. Он опять поднимает руку с папиросой и поднимает голову. И... Слушай, я бы не хотел быть на его месте. На самом деле можно перепугаться до смерти даже не трусливому — как из-под земли средь бела дня. Я ему так тихо, почти шепотом говорю: «Хенде хох!» Точно не помню, но, по-моему, под ним мокро стало сразу же...

Тут подбежали ребята — Рассказов и Забережный или Набережный — подняли их, повели. Я еще от радости последнего по спине похлопал, говорю:

— Давай, давай...

Мы до штаба полка еще их не довели, нас уже встречают. Все рады. Заместитель командира полка Белов целует меня. Праздник. Еще бы — столько времени не могли взять «языка», а тут сразу двое.

А пленные оказались ничего, приличные — дивизионные радисты. В артиллерии. Они дали хорошие сведения.

После этого и пошли наступать. А мне — орден Красной Звезды. Второй.

Я: Первый ты где получил?

ИСАЕВ: Первый еще в Сталинграде.

Я: Не может быть. Ты же приехал на формирование в Тулу с двумя медалями «За отвагу». У меня была одна медаль «За отвагу», у тебя — две. Я хорошо помню.

ИСАЕВ: Не-е. Ты забыл. Вон документы-то, посмотри. Там дата есть. Я его получил за те блиндажи, помнишь, в которые мы гранаты бросали в трубу?.. А орден Отечественной войны I-й степени я получил за Днепр.

Ивану, конечно, лучше знать, где и за что он получил какой из своих орденов. Но меня еще раз удивила необъяснимость законов человеческой памяти... По какому принципу она сохраняет на десятки лет никому не нужные детали, мелочи и в то же время выбрасывает большие и важные со-

бытия. Я, например, до мелочи помню лицо того фашиста на небольшой — 6X9 — любительской фотокарточке на фоне лагерной проволоки: упитанная, лоснящаяся морда с заплывшими глазами — тупая сытость и ничего больше — да левая нога, выставленная вперед, и правая рука, небрежно воткнутая в бедро, — поза «первого парня» из самого большого захолустья. Я сегодня еще вижу этот снимок.

Зачем я помню его тридцать пять лет?

А Иван не помнит не только этого снимка, а вообще самого факта встречи и самосуда, который он устроил над этим мордатым предателем и перебежчиком.

Или такой пример. Иван утверждает, что когда мы стояли после сталинградских боев в балке Коренной, я писал по заданию командования к нему на родину, в Идринское, три письма, в которых описывал его подвиги и вообще хвалил его насколько хватало у меня красноречия.

— Ты тогда уже был шибко грамотный! — говорит он мне на полном серьезе. — Складно писал. Эти письма в колхозе читали на собрании, в мэтээсе, и в газете печатали в районной...

А вот я эти письма не помню. И самого факта, что их писал, тоже. Сейчас бы они очень согодились...

Ну ничего, придется пользоваться все-таки памятью Ивана Исаева. И он мне рассказывал. Рассказывал, как крепко держался немец за Днепр на их участке. Передовые части уже переправились на правый берег. Двести семьдесят третья дивизия была во втором эшелоне. Поэтому Ивану Исаеву, который к тому времени — будучи в звании старшины — возглавлял взвод разведки, было приказано переправиться через Днепр, установить, какие наши части против каких немецких ведут бои на плацдарме, и вообще посмотреть, что там за бои — дивизия вот-вот должна выйти на передовую линию и командованию надо было иметь хотя бы какое-нибудь представление об обстановке. И, конечно, при возможности взять «языка».

Днем река замирала — только снаряды со свистом проносились над ней в ту и в другую стороны, да копошились саперы — наводили понтонный мост. Совсем немного осталось дотянуть мост до правого берега.

— Налетела авиация, — говорит Иван невыразительной скороговоркой. — Ни саперов, ни моста!.. Все пошло в Днепр! Ух и лютовал он! А у него другого и выхода не было. Деваться некуда.

Во взводе было тринадцать или четырнадцать человек. Сколотили вечером два салика — лес растет прямо на берегу — и в ночь поплыли. На хлипких, неустойчивых бревнышках, которые готовы просто от хорошей волны рассыпаться.

Доплыли — кругом рвались снаряды, плоты, более массивные и то разлетались, как щепки, люди тонули взводами сразу — разведчики доплыли. На плацдарме не только облазили всю передовую линию, но и захватили пленного. Как захватили? Об этом я и спросил Ивана. Он махнул рукой. Отвернулся.

— Дурака какого-то. Заблудился и сам приперся к нам. Даже рассказывать неохота. — Иван долго молчал. Но и я молчал, ждал. — Знаешь, когда трудно берешь «языка», цена ему совсем другая.

ИСАЕВ: Вот я тебе что еще расскажу — расскажу, как вел разведку боем под Луцком и за что я получил орден Красного Знамени...

В общем, немец отступал, отступал, а тут что-то притормозился. И довольно крепко. Окопался на высотке, и мы — тоже. А посредине низина метров четыреста — кому охота в низине оборону занимать. «Языка» опять ни одна разведка взять не может. А он нужен! Вот командование и решило провести разведку боем — выявить все его огневые точки, потом, перед новым наступлением подавить их и начать наступление.

Дают разведчикам роту пехоты — это чтобы мы ее возглавили, повели ее середь бела дня в наступление и вызвали немецкий огонь на себя.

И вот я подаю команду всем расчлениваться — еще в траншее. А почему команду даю я, потому что я — командир разведки и несу ответственность за выполненные задачи.

Когда развернулись все да пошли — широко захватили, много народу показалось. Оно и на самом деле — три взвода пехотных да наш — считай, чуть не полбатальона. И пошли!

А он — боже мой, вот уж он палил! Со всех видов оружия! Он думал, что наступление началось. Снаряды рвались и мины ну прямо рядом со мной — вот, в нескольких шагах — и ничего! Глушит. Осколки жужжат. А ведь ничего — живой вышел. Больше половины людей полегло. А меня не задело даже.

Когда вернулся на эмпэ — а там все ко-

мандование: и артиллеристы, и минометчики, и пулеметчики — все засекали огневые точки, поздравляют меня. Сразу же представили меня к ордену Отечественной войны I-й степени.

Представить представили, а ничего не получил — вскоре меня ранило. Только в шестьдесят первом году написал в Министерство обороны. Мне оттуда ответили, что я награжден орденом Красного Знамени и выслали его в крайвоенкомат. Райвоенком в Идре мне его и вручил...

Ну что тебе еще рассказать? Да, ты спрашивал, как я ногу потерял? По-дурацки я ее потерял. И рассказывать неохота... Я тебе расскажу, как меня ранило.

Это уже было за Днепром. А точнее — как бы тебе не соврать — мы Гомель уже взяли. Да, после Гомеля меня ранило... Так вот часто же бывает на фронте: пока наступаем, «языка» вроде бы и не надо, а как остановимся — вынь да положь. Вот и на этот раз... Вспомнил — это было пятого декабря сорок третьего года... Нет «языка». День нет, второй — нет, третий день ни одна разведка в дивизии не может привести. На четвертый вызывает нас с Качаровой, с начальником разведки, командир полка Мещеряков и ставит задачу.

А задача такова. Ночью взвод штрафников должен наступать на один из блиндажей, завязать бой. Отвлечь на себя внимание противника. А мы в это время должны взять «языка» правее. А там было проволочное ограждение. Минного поля, правда, не было.

Когда началась там заваруха, мы сунулись было на своем участке. Но — где уж там! Немцы были настороже. Тут у нас мордвин один из вновь набранных разведчиков повис на проволоке. Ух как его бедного изрешетили. Он, видимо, раненый повис-то, когда перелезал, что ли. Не знаю, почему он очутился наверху проволочного ограждения? Так из него немцы решето сделали. Тут погиб из старых разведчиков Апальков. Ты его не помнишь? Нет, наверное, он после тебя пришел. И еще один разведчик, забыл его фамилию.

В общем, «языка» мы не взяли — немцы всю ночь на боевом взводе, не то что там что-то, а даже погладиться не дают. Отошли мы к нашим траншеям, я говорю ребятам, вытащить, мол, надо своих-то, похоронить по-человечески. Ребята поползли, а я вылез на бруствер и смотрю, как они будут тащить. И тут то ли мина, то ли снаряд прилетел — шмяк рядом. И всего осыпало осколками. То бывало кругом рвутся,

а мне — ничего. А тут пол-уха оторвало, шею всю изрешетило и спину истыкало. Но в спине осколки-то не глубоко были, в госпитале потом их ножичком выколупали.

Вот там, в полевом госпитале, и насмотрелся я: лежат они, бедные, стонут, эти раненые, машин не хватает, чтобы эвакуировать. Всем обещают, что вот сегодня, вот — завтра отвезут дальше вглубь, в дальний тыл. А я думаю, зачем мне он, этот дальний тыл? Вышел на дорогу. Машины же идут на фронт с боеприпасами, попросился. И — обратно к фронту. Приезжаю в свой дивизионный медсанбат, говорю, никуда, мол, я не поеду — зачем мне это надо!

Три месяца я там прожил. Ребята навещали. Несколько раз Качараву приезжал. И вот однажды он приехал рано утром. Посидел, поговорил — все-таки друзья. Чую, что-то он не так приехал спозаранку. Наконец, говорит:

— Мещеряков просит, если можешь, приезжай. Малявин вышел из строя...

Ты помнишь Малявина? Командир взвода, из кадровых офицеров. Брился каждый день...

В общем, приехали мы в полк. Являюсь к Мещерякову, докладываю:

— Товарищ полковник (он тогда уже полковником был), прибыл для дальнейшей службы.

— Молодец, что прибыл, — говорит он. Потом посмотрел на нас с Качаравой, подмигнул: — Поди, обмыть бы не мешало?

Мы, конечно, пожалы плечами — дескать, хорошо бы, да где взять? А как раз почему-то водки нигде не было! Он потряс свою фляжку над ухом — помнишь, у него всегда энзэ был? Потом вызывает какого-то майора по тылу и говорит:

— Очень прошу найти литр водки. Надо.

Тот, правда, быстро принес. Мещеряков отдает эти две пол-литры мне. Еще и руку пожал.

Приходим во взвод. Ребята обрадовались моему возвращению. Ну, сам понимаешь, разлили всем — пришлось по сто грамм на каждого, в том числе и на Качараву и на меня — ну, что там две бутылки!

В этот раз мне не пришлось даже и на задание сходить. На другой день приказ: личный состав передать действующей дивизии, командный — на формирование!.. Сдал я ребят в соседнюю дивизию. Их и было-то человек девять или одиннадцать. Но ребята хорошие были!.. Командир полка, конечно, знал, что этот приказ будет,

поэтому и Качараву послал за мной и литр водки нашел, чтоб я попрощался с ребятами. Ох и душевный человек был!.. Отец родной...

Формировались мы в Нежине.

После Нежина Мещерякова от нас забрали — назначили командиром какой-то дивизии. Приехал новый командир полка, новый замполит, новый начальник штаба — Долинского назначили начальником штаба дивизии. В общем, в полку никого из старых не осталось, все начальство другое. Сидим как-то втроем — Качараву, Белов и я — я и говорю, знаете, мол, что? Мне даже стрелять надоело! На самом деле. Ты представляешь, Гоша, ведь не месяц, не два, не три, а ведь годами стреляй и стреляй. Сколько же можно!..

Ладно. Выключай свою шарманку. Пойдем за стол, выпьем — столько лет не виделись, а ты меня не выпрягаешь из этого хомута. Пойдем... Ах, да-а, про ногу-то. Потерял я ее глупее не бывает. Под Владимиром-Волынским ранило меня пулей чуть-чуть повыше щиколотки в мякоть. Я так наспех замотал и ходил. Два дня ходил. Правда, кровь хлюпала в сапоге. Но не в этом дело. Речку переходили. Я и оступился с мостков. Вода была грязная, даже не вода, а жижа. Оступился. Зачерпнул через голенище. Заражение крови. Гангрена. Ногу отняли. В Луцке, в госпитале. Это еще хорошо. Мог вообще концы отдать.

На третий день

На третий день Иван рассказывал о друзьях-товарищах, не о себе. Поэтому рассказ был лоскутный, многоэпизодный.

День начался дома у Исаева в поселке Центральном, а закончился в Идринском, в моем номере гостиницы.

ИСАЕВ: Вот ты говоришь, Гоша, что у нас с тобой не сходятся рассказы. А как они сойдутся, когда мы с тобой не каждый день вместе были. Ты видел одно, а я видел другое. Ты был в одном месте, на одном задании, а я в это время на другом задании, в другом месте. Потому я и не помню, когда ты выбыл. И многих не помню, когда они выбыли. Вот только тот, кто у меня на глазах был ранен или убит, тот само собой запомнился. Вот Сысика убило у меня на глазах — я его всю жизнь помню... Ты Рассказова помнишь?

Я: Еще бы! Только вот не помню, когда он пришел — до моего прихода или уже при мне?

ИСАЕВ: Он с другого полка — с шестьдесят седьмого или шестьдесят девятого, нашей же дивизии. Он и там был разведчиком. Хороший парень. Натура-альный разведчик.

Я: Помню, у него были трофейные сапоги с длинными голяшками...

ИСАЕВ: Ага. Длинные и какие-то железные голенца.

Я: А вот лица его я не помню.

ИСАЕВ: Вроде бы немножко корявенький, не особо-то симпатичный. Как вот тот долгоносенький, на которого шинель-то немецкую надевали.

Я: Казнодий?

ИСАЕВ: Казнодий... Слушай, а какой дурак шинель на него надевал? Ученья, что ли, были?

Я: А ты не помнишь? Фотокорреспондент, а может, кинооператор приезжал, и мы ему показывали, как разведчики берут «языка». Вот и Казнодия нарядили под немца. А мы к нему подползали с ножами... Не помнишь? Ну, ка-ак же! Смеху было. Мы на него кинулись, а он руки так, до ушей поднял и стоит, ждет. А корреспондент ему: «Ты, говорит, выше руки-то поднимай... не знаешь, что ли...» А Казнодий ему — я хорошо это запомнил — говорит: «А я никогда в плен не сдавался — не знаю, как руки поднимать!..»

Скинул эту трофейную немецкую хламиду и ушел...

ИСАЕВ: А ведь точно! Что-то мне припоминается, когда вот ты рассказал. Точно, что-то такое было. Именно так. Натура-альный парень был. Они с Рассказовым навроде бы как братья были похожи... Оба — и тот и другой — самые настоящие разведчики.

Вот Рассказов-то со мной и брал в брянском лесу тех голых. А вот тот, которого Сенькой звали — Забережный или Набережный, — обличие его не могу вспомнить, что хошь делай — тот супротив Рассказова чуток не дотягивал. Он, Набережный или Забережный, больше на подхвате был. В коренники-то его нельзя было запрягать — чуток слабоват.

Вот одно время идем мы. Я пилотку носить не любитель был. А дождик накрапывает. В плащ-палатках идем. Волос у меня был белый, длинный — помнишь ведь — промочило его. Но не так, чтоб шибко. Я в том смысле, что дождь не сильный — иначе бы я пилотку надел.

Заходим в деревню... А деревни нет — все сожжено еще в сорок первом году. А немец откатывается, отступает. Все сожжено, а плетни и всякая городьба стоят. Как были огороды, так и стоят. Но ни одного домика! А они, немцы-то, хотя и отступали, а все равно временные окопы и траншеи рыли. Прикрывающих в них сажали. Нельзя же сразу всем уходить.

В общем, идем мы передом. А Качарава с разведчиками что-то приостановились. А этот Забережный-Набережный идет со мной — вдвоем мы с ним оторвались ото всех.

И все это произошло так внезапно. Иду. А сам по привычке глазами зырк, зырк по сторонам. Автомат наведенный — как-то выработал я в себе привычку в любую секунду быть готовым. И вдруг вижу по правую сторону дороги окопчик! А дальше — еще, еще.

А они, паразиты, от дождя-то прикрывались плащ-палатками, немцы-то, и сидят. А тут нас увидели совсем рядом — ну, метров, десять, не больше — кричат нам, «Хальт!»

У-ух, как я начал шерстить из автомата! А сам — назад. Глядь — и с левой стороны тоже окопчики. И там немцы. Я и по ним! Главное — не дать им головы поднять и самим успеть отойти за бугорок побыстрее. И этот Набережный-Забережный со мной отходит. А будь тут Рассказов сзади меня или я сзади него, что бы мы сделали? Гранаты же на боку! Бросай гранаты! Мне нельзя — у меня автомат в руках, я стро-чу, а у тебя руки свободные. Я бегу, и он бежит. Через бугорок перевалили. Пока они очухались, начали стрелять, пули прошли уже выше нас.

— Ты, — говорю, — почему гранаты не бросал?

— Растерялся...

Это значит, что в самый опасный момент этот человек может подвести и себя и тебя. Потому это все, что реакция у него не срабатывает мгновенно. А вот Рассказов бы не подвел, не растерялся бы.

Поэтому я говорю: разведчика надо подбирать на деле, а не на занятиях в тылу.

Был у нас такой парень. Фамилию его я не буду называть, он погиб — пусть ему земля будет пухом... Он уже прошел все занятия, которые в тылу с нами проводили, — все умеет и все правильно делает, и даже приехали на фронт, сходили за «языком» (он попал в прикрывающую группу), тоже хорошо себя чувствовал. Ну, думаю, из него будет настоящий разведчик.

Взял его с собой в захватывающую группу. Подползли. Облюбовали фрица, которого брат, все выверили, все рассчитали: вот он рядом, часовой — кинуться и схватить его. И вдруг у него — ур-р-р — живот!.. Вот честное слово! Вот ни сколь не вру. Я понимаю — не нарочно же он это.

Стало быть, этот человек тоже может подвести и себя и товарища. Вот представь такое — вот не случись у него это с животом, вот кинулся бы он со мной на часового, схватил бы он его, что могло бы произойти? Коль человек чувствует в себе какую-то неуверенность, это передается и тому фрицу. «Языка» брать должны трое — это самое большое. Двое скрутили, третий должен страховать — он осмотреться должен, в случае нужды прикрыть. А когда один из трех неуверен, он может и промахнуться — все что угодно можно от него ожидать, он же сам собой полностью не владеет.

Я о чем все это говорю? У каждого человека есть предел его храбрости. И командир это должен знать. Четко знать, и каждого запрягать в свои оглобли...

Вот у нас был — это еще до тебя — Фомченко. Не слыхал про такого? Вот он — я уверен — предела не знал. Я не помню, откуда он взялся у нас в полку. Знаю только, что он был ординарцем у Мещерякова. Когда-то имел звание старшего лейтенанта моряка, потом был разжалован за что-то — я не знаю, за что, он не говорил.

И вот однажды он прямо днем прополз через всю нейтральную полосу на передний край противника. Спрыгнул в окоп, одного немца застрелил — их было двое в окопе — а второго прямо днем... прямо днем со вторым перебежал на нашу территорию. За это он получил орден Красного Знамени. Ему восстановили воинское звание, и — его к нам, в разведку. Командиром взвода.

Он, как пришел к нам в разведку, сказал мне:

— Будешь со мной. Ни на шаг от меня!

Он ходил по передовой, как по аллейке. Ну, слушай, я знаю, что я не пугливый, но когда я шел с ним на нейтралку, у меня мороз под кожей шевелился. Вот это разведчик был самый что ни на есть натуральный!.. Я у него на поводу шел. Я еще не помню, у кого я был на поводу — храбрее меня. Но у него-то был... А делся он вот куда.

Ты не помнишь, комбатом был Алейников? Помнишь? Так вот он — еще до Вертячьего это было — вклинился со своим баталь-

оном в немецкую оборону, захватил там у них несколько блиндажей и обстреливал их и правый и левый фланги. И вот Мещеряков говорит:

— Надо связаться с Алейниковым, разведчиков туда послать.

А телефонная связь была, но она поминутно прерывалась — снаряды же рвутся и мины — и подолгу не работала. Связисты мотаются.

Фомченко говорит:

— Я сам пойду. Пойдем, Иван.

И мы пошли. Да угодили с ним не к штабу Алейникова, а на левый фланг. На самый край. И напоролись на немцев. Они по нам огонь открыли. Я как рубанул из автомата — четырех сразу ссек. А ему пуля попала в рот — через обе щеки прошла, язык пробила. А зубы все целы, не задела.

Прибежали мы к Алейникову. У Фомченко язык болтается — смех. Кровь течет. Маячит мне, дескать, дай водку — дезинфицировать надо... Я ему лью из фляжки. Он глотает. А кровина — бог ты мой! И язык-то не то чтобы оторвало, а задело сильно, до половины пересекло. Он маячит мне, дескать, все, пойдем обратно. Ну, пойдем, говорю... А уж день. Отправлялись ночью. Теперь надо перебежками. И мы двинулись перебежками. Я рывок сделаю — р-раз, упаду. И он то же самое делает.

Перебежали до наших траншей. Он обратно маячит: лей... чтоб заражения не было!..

Во человек был! Мне с ним не тягаться, не-ет. Он после стал Героем Советского Союза. Это звание он получил в другой части, уже после госпиталя. Его Мещеряков любил. Когда Героем стал, писал Мещерякову. Тот к нему ездил...

Но не всегда так получалось — не всегда жилось так красиво и хорошо. Ты же знаешь — больше тяжелого было...

Помню, еще на Курской дуге — кажется, перед тем, как взять тех голых — ну, не дается «язык», никому не дается, ни полковой разведке, ни дивизионной. До того уж мы вымотались — ног не таскали. Ты помнишь, какой я был упитанный? Так вот, я даже с тела спал. У нас в штабе полка невылазно сидел заместитель начальника разведотдела дивизии, майор — так он прямо из себя выходил, ему надо, чтоб обязательно первой наша разведка взяла, та, где он закреплен. Говорит даже так: никто не возвращайтесь, а чтоб «язык» был. Так нам никогда еще задачу не ставили... А как ты возьмешь — немец настороже, начеку все время, и днем и ночью. Вдоль всего пе-

реднего края минное поле и проволочное заграждение, везде пулеметы стоят — ну, невозможно! Никак! Везде все пристреляно.

А этот говорит: раз потерь нету — значит, не действовали.

Ну поведу я ребят на рожон. Сам не вернусь — кому-то после меня все равно брать, все равно идти. Я вернусь, ребята не вернутся — мне новых потом набирать. А кого я наберу?

И вот он решил проверить нас.

Но разве он меня проверит? Уж если я захочу его обмануть... Короче говоря, я сказал ребятам, чтоб прихватили с собой малые саперные лопатки. Как только подползли к немецкой передовой, приказал окопаться у проволочного заграждения. И стоило только нам чуть-чуть пошевелиться, началась стрельба. Окапывались мы уже под огнем. А когда окопались, в отместку кинули по паре гранат. Бог мой, что после этого началось! Немцы подумали, что мы сейчас начнем блокировать блиндаж — открыли огонь из всего, что только стреляло. И конечно, не столько по нам, потому что мы под самым носом у них и за просто можно промахнуться и угодить по своему краю, отсекали резервы, если бы они были у нас. Резервов у нас там, конечно, никаких не было потому, что наступать мы не собирались, а замначальника разведки дивизии там был, и снаряды и мины били по нему.

Потом рассказывали ребята из батальона, что он метался, как чумовой. Здесь блиндажей-то нет с тремя накатами — мины-то рвутся на глазах у тебя...

Когда мы вернулись, я стал докладывать — не успел звание его выговорить, как он замахал руками: все, мол, знаю, все видел — «языка» действительно взять невозможно... Дураки ведь и на фронте были. И карьеристы тоже...

Этот майор погиб потом. Погиб, а вспомнить нечем.

А вообще-то, как бы там ни было, все-таки хорошо в разведке было, правда? Какая-то единая семья была — все за одного и один за всех... А ты помнишь, с нами всегда ходил на задания сапер? Высокий такой, конопатый. Так вот однажды что-то я глянул на него и подумал: со всеми боролся, а с ним почему-то нет. А как раз кухня подъехала. Ты Федю-повара должен помнить, штабной был, он готовил для всех, кто при штабе — для разведчиков, для саперов, для связистов, химиков. Федя накладывает в котелки пшенку с мясом и что-

то подзадорил нас. И вот мы взялись бороться. Он повыше меня ростом был. Так вот он как зажал меня, так, веришь, как вот этим, которым волоком лес возят — тросом. Я говорю: «Хорош! Хватит». Чувствую, что он у меня ребра сломает, честное слово. Во какая силища у человека!.. Я здоровый был, но он — что-о ты! На него смотреть страшно — он такой сутулый был, руки длинные...

И еще помнишь, был у нас вологодский. Фамилию его забыл. Он говорил так редко, вразяжку и при этом губами вроде пришепывал. Не помнишь? А какой натуральный был разведчик! Спокойный. Даже я должен сказать: он выдержанней меня был, потому как у меня иногда случалась горячка. А он — не-ет, он спокойный всегда был... С ним мы тоже боролись. Он крепкий. Но не всегда меня побарывал. У нас с ним получалось то он меня, то я его.

А вот фамилию его забыл. Он тоже погиб. Вот он говорун не любил — страсть как. Бывало, придет с задания, молча сядет и сидит, а кто ежели начнет очень шибко рассказывать про то, как они ходили, что сделали, так он на него посмотрит так — вот ничего не скажет, а только посмотрит и вроде бы тому и рассказывать неохота уже...

Мы вспоминали и разговаривали все эти дни постоянно, куда бы мы ни шли, что бы мы ни делали. Поминутно у кого-то из нас вырывалось: «А помнишь?..», «А ты знаешь?..»

В этот день вспоминали мы и в школе, где на этот раз Иван Никитович выступал в новой роли — не как кочегар, а как ветеран Великой Отечественной войны перед ребятами. Они смотрели на него удивленно. Им интересно — каждый день они бегали мимо его кочегарки и не знали, что там «колдует» такой человек.

Смотрят они, задрав головенки, на этого человека, и, конечно, кажется им, что давным-давно — так давно, что еще их пап и мам не было на свете! — этот человек вместе с их дедами закрыл Россию своей грудью. Как это давно было! — им кажется. А Ивану Никитовичу кажется, что было это совсем недавно. Вроде совсем недавно прибежала из штаба полка к разведчикам санинструктор Вера — ростовская. Фамилию ее Иван Никитович забыл (фамилию можно забыть и через неделю), а вот глаза ее шустрые, веселые помнит. Нет, между ними не было той мимолетной фрон-

товой любви, о которой иногда еще говорят и которую зачастую показывают в кино. Помнит потому, что уж больно не для войны она рождена была, хрупкая, нежная и внимательная.

— Понимаешь, Гоша, не могу о ней рассказывать, вот вижу, как осколок ей в голову ударил и косичку туда... в мозги... Вот будто вчера это было...

Ему это кажется, что было вчера. Будто не прошло с тех пор, когда он лазил за «языком», и до сегодняшнего дня, когда он шурует кочергой в топке, тридцать с лишним лет! А он сидит по ночам у котельной топки, смотрит, как искры падают в поддувало, словно погасшие ракеты над передним краем, и, наверное, еженощно видит себя ползущим к вражеским блиндажам. Кажется, это было вчера.

А теперь вот он сидит в котельной и следит за манометром — он дает ребятишкам тепло, дает уют. Это не так уж и мало. Сам недоучился — пусть теперь они учатся. Свой сын вырос — о чужих заботится.

И вот выступает он перед ребятами в школьном зале. Смотрят они на него, моргают глазенками. Может, для кого-нибудь из них сегодня мир перевернулся, может, кто-нибудь сегодня в обыденном, повседневном увидел необычное, в кочегаре увидел героя. Это на всю жизнь может сделать человека поэтом, если уж не тем, который стихи пишет, то тем, у которого душа возвышенная, поэтическая...

В тот день в райцентре мы заехали к Алексею Ефимовичу Фролову. Но дома его не оказалось — в больнице он, с глазами что-то худо стало. И мы поехали к нему в больницу — мне хотелось просто повидаться безо всякой определенной цели, посмотреть на человека, с которым в детстве рос Иван Исаев, с которым работал вместе в канун войны и которого по счастливой случайности спас на поле боя.

К нам в коридор вышел подтянутый, молодежавый мужчина — сразу-то и не определишь сколько ему лет. Только сильная седина в голове да толстые стекла очков как-то напоминали о его возрасте. Голос веселый, настроение бодрое. Правда, сразу не поймет, что за народ к нему нагрянул — а нас человека четыре или пять! — и что от него хотят.

Говорили мы недолго — больничный режим — это не курортный, к тому же был тихий час в палатах, больные отдыхали...

Вечером в гостиничном «люксе» собрались местные товарищи, и мы до глубокой

ночи охотно слушали рассказы Ивана Никитовича Исаева.

Сейчас я время от времени включаю магнитофон и снова слушаю неторопливый басок моего фронтowego друга.

ИСАЕВ: Знаете, вспоминается фронт не всегда одними ужасами. Нам ведь было по восемнадцать — по двадцать. Жизнь она везде жизнь. Даже на фронте.

Помню, Сож надо было форсировать. Даже не форсировать, а перейти по мосткам — в две-три доски связан такой переход через всю реку. И вот солдаты по ним бегут. Метров сто — сто двадцать, а может, сто пятьдесят — кто их там мерил, эти метры. Солдаты, значит, бегут по этим мосткам, а немцы по ним стреляют. В кого не попали — значит, проскочил на тот берег. А в кого попали даже слегка, тот пошел на дно. Стреляли не только из пулеметов или там винтовок, а и минометы были, и артиллерия.

Подошли мы к берегу. Нас, наверное, человек десять разведчиков. Думаю, зачем всем рисковать. Чем меньше людей, тем меньше риску. Говорю ребятам:

— Садитесь вот в окопы и не высовывайтесь, пока я не вернусь.

Взял с собой двух ребят, и мы по этим мосткам бегом на тот берег. А доски на плаву, качаются. Пока мы добежали, несколько человек при нас сорвалось с них.

Короче говоря, сходили мы на связь. Идем обратно. А снаряды и мины рвутся в реке и наши, и ихние. Рыбы поглушили — у берегов белым-бело, лежи в две ладони. Перебежали обратно на свой берег. Смотрю, а ребята понатаסקали этой рыбы гору. Это чтоб без дела не сидеть, они и занимались.

Сразу же спрашиваю:

— Потерь нету?

— Нету, — говорят.

Хотел было отругать, а потом подумал, что я и сам бы на их месте не усидел. Тут на наше счастье полуторка подошла с боеприпасами. Ящики разгрузили. Мы эту рыбу — в кузов. Приехали к штабу полка, раздали рыбу по штабным подразделениям. Почему-то, мне помнится, масла постного было много тогда. По всему лесу костры разожгли, жарят рыбу. Все жарят. Долго потом вспоминали этот рыбный день в нашем полку. Как-то все общее было. Имено общее.

Когда стояли еще в Нежине, к Мещерякову приезжала семья в гости — жена с

двумя дочерьми. Пожили они. Потом прибегает ко мне Качарава.

— Ванек, — говорит, — я еду в Москву с семьей Мещерякова.

А он был женат на племяннице Мещерякова. Жена его жила в Москве у Мещеряковых. Так что он к жене ехал. Я и говорю, как бы мне съездить? У меня, мол, дядя там тоже пришел с фронта на костылях, повидаться.

— Иди, проси.

Вот я и пошел к нему. Прихожу. Он жил на частной квартире, в доме. Дочь старшая сидит на лавке. А он, хитрый, сразу понял, что-то я не так пришел. Согнулся, шурует голландку. Подтапливает. Я говорю:

— Товарищ полковник, разрешите обратиться?

— Давай обращайся.

— Разрешите в Москву съездить с вашей семьей, с Качаравой.

— А ты же сибиряк!

— В Сибирь, кто знает, придется или не придется попасть... А в Москве у меня отцов брат, мой дядя родной пришел с фронта. А материн брат уже погиб.

Материн брат был ополченцем. Когда немец к Москве подходил, они прямо с завода небомундированными ополченцами и ушли. И он погиб.

— Ладно, — говорит. — На десять суток так же, как Качараве, разрешаю. Сейчас же идите оба в портновскую. В вэвэс сначала получите шинели новые и тут же чтобы по вам их замерили и перешили. И обмундирование новое из английского сукна. Понял?

— Так точно, — говорю.

Ну, пришли мы на вещевой склад, получили шинели. Сразу же отдали их перешивать.

Качараве обмундировка подошла, а мне брюки малы. А их всего пять штук. И все малы. Я их брать не стал. Прихожу, ему обратно докладываю: мол, товарищ полковник, мне брюки не подходят.

А у него ординарец был Илюша, маленького роста, подвижный такой — таким и должен быть ординарец, юркий.

— Илюша, а ну-ка носи мои брюки.

Тоже английские. Галифе. Приносит. Я прикинул — вроде как раз. Мы же и по росту и по сложению с ним почти равны. Нет, правда, он чуточку повыше.

— В них и поезжай.

Вот так оно и было — полковник отдал собственные брюки солдату. Новые, ни разу не надеванные...

На фронте всякое бывало... Иное просто смешно и вспоминать. Был такой случай. Это еще на Орловщине. Взяли мы «языка». Такого хор-рошего. Ну, нам за него, конечно, что положено выдали. А дело было как раз в октябрьские праздники. Нам показалось мало. Все-таки два праздника! И порция должна быть двойной. А у нас трофейное барахло всегда у кого-нибудь водилось, так, на всякий случай. Я говорю Феде Мезину — ты, Гоша, помнишь его, из артиллерийских разведчиков к нам перешел, он хоть из-под земли что угодно достанет — говорю ему: достань самогону. Федя — р-раз! — и самогон тут как тут.

Короче говоря, идем. На марше. У меня такое игривое настроение. Качарава с ребятами немножко впереди, а я приотстал. Слышу, сзади машина идет. Не оборачиваюсь, иду посредине дороги. Чую, близко машина. Иду. Вот совсем рядом. Не оборачиваюсь — что-то так поиграть захотелось, силу девать некуда было... Под коленки буфером подъехала. Я сел на буфер и руку откинул на радиатор.

— Что это за герой? — Слышу, голос незнакомый, крепкий, похож на генеральский. Ведь в армии у каждого чина свой голос. Старшину, например, с генералом в самую черную ночь не спутаешь. Так и тут, чувствую — не то!

Оглянулся — бог мой! Командир корпуса, генерал-лейтенант!

— Из какого подразделения?

Потом глянул на финку. Наверное, понял. Я руки по швам опустил. Докладываю:

— Разведчик, товарищ генерал. — А самому что-то совсем не страшно перед генералом, улыбнулся и говорю: — «Языка» взяли, товарищ генерал, гуляем... Да и праздник.

— Теперь вижу, что разведчик, — сказал он. И сам тоже добродушный такой. Говорит: — Но ты маленько отсторонись, мы проедем... Как бы нам тебя не задеть...

Говорю:

— Проезжайте, товарищ генерал...

И отступил в сторону.

Вот ничего вроде бы особенного не сказал генерал солдату — хотя мог бы и наказать и за то, что выпивши, и за вольность, он, привыкший посылать людей тысячами в бой, все мог, а вот проявил уважение к тяжелому труду разведчика. И разведчик на всю жизнь запомнил это. И гордится этим — генерал снизошел к нему в минуту его слабости...

Дорого это солдатскому сердцу.

Я слушал рассказы Ивана Исаева и ловил себя на том, что никак не могу нащупать ту срединную точку зрения на описанные мною эпизоды, которую мне так хотелось ухватить. А ее, наверное, просто нет, той срединной точки. Есть два человека, которые видали совершенно разные события. Каждый видел свое. Поэтому его и мое видения мешать нельзя.

Поэтому рассказы Ивана Исаева почти ничего не добавляют к моим — эти рассказы о совершенно других событиях. Хотя, может быть, об одних и тех же людях...

Как и условились накануне, секретарь райкома подъехал к гостинице утром. Анатолий Федорович сам водит машину, поэтому он любезно согласился «прокатиться» за рулем до Абакана. Был воскресный день, с нами поехал и его товарищ, тоже работник райкома партии.

Втроем за разговором мы доехали до центра Хакасии просто не видя. Говорили, в основном, о местных проблемах — секретарь райкома говорит, что решили строить настоящий аэропорт, с бетонной взлетной полосой, чтобы в любое время года принимать реактивные самолеты; кадры для села заводят теперь местные, на привозных ни хозяйство, ни культуру не поднимешь; жаловался, что в книжных магазинах книг мало, на художественную литературу голод. Но главный разговор был все-таки об Иване Исаеве.

Секретарь райкома, не отрывая глаз от дороги, говорит мне:

— Вы для нас открыли этого человека. До появления «Книги о разведчиках» в нашем районе почти никто не знал, что Исаев был таким храбрым разведчиком... Наша задача теперь поддержать его на той высоте, которой он достиг в войну и о которой порой сейчас забывает. Трудно, конечно, всю жизнь держаться на уровне своих, так сказать, вершин. А нужно. И для себя, и для других... В общем, теперь мы обратим на него самое пристальное внимание.

Три дня, всего три дня пробыл я у Ивана Исаева. И вот теперь возвращаюсь домой. Возвращаюсь как из обычной командировки. С каждым часом это ощущение обыденности все настойчивее и настойчивее влезает в меня. Незнакомая и в то же время уже где-то, когда-то виденная дорога, холмистая, с перелесками — по скольким из них я проехал за долгие годы!

Бот абаканский ресторан — обыкновенный, ничем не отличающийся от других рес-

торанов, в каких сотни раз обедал или ужинал в командировках. Вот спутники — со сколькими доводилось делить дорожный досуг, коротать время до отхода поезда, до отправления самолета, разговаривать на самые общие и на самые конкретные темы. Вот так же, как и всегда, лениво подошла официантка и, глядя поверх наших голов, равнодушно приняла заказ, а потом час или полтора спустя получила расчет.

И так все это обычно, и так это многожды раз повторялось со мной, что вдруг показалось мне, что и вся встреча с Иваном Исаевым не больше как сон. Да, сон в командировке. В очередной командировке. И что на самом деле ничего этого не было.

Я сказал об этом моим спутникам. Они как-то странно посмотрели на меня и ничего не ответили на это. А мне после этого и на самом деле подумалось: а может, действительно это сон? Слишком уж неправдоподобна эта встреча. Тот самый Иван Исаев, который вошел в мою юность когда-то, давным-давно, неужели это он ожил? А с ним и ожила давно ушедшая юность?

3. СНОВА ПО МЕСТАМ ВОЙНЫ

Второй раз мы встретились с Иваном Исаевым через полтора месяца на самой окраине России — около польской границы, во Владимире-Волынском. Здесь проводилась очередная, третья по счету, встреча однополчан нашей дивизии. Некоторые приезжают на такие встречи не первый раз. Но большинство — впервые, как и я.

Все приехали на московском поезде к условленному времени, я торопился, полетел на самолете, поэтому заявился... после всех. И я вспомнил: у нас, во глубине России, в «глухомани», сельские районы давно уже принимают у себя реактивные самолеты, а тут, на «цивилизованном» западе между республиканской столицей и областными центрами все еще летают на би-планах, чуть ли не на легендарных «кукурузниках», и болтало в воздухе меня неизменно. Поэтому, помывшись после знойного и утомительного дня и даже ни с кем не повидавшись — все были на торжественном заседании во Дворце культуры — я уснул, как в омут провалился.

Слышу сквозь сон стук. Сильный, настойчивый, будто кто ломится в дверь середь ночи. Кое-как оторвался ото сна. Открыл. Спросонья не пойму — навалился на меня кто-то огромный, сильный и... кудлатый. Тискает в объятиях.

— Не узнаешь? Смотри хорошенько! Смотри!

Это был Федя Мезин!

Конечно, я бы его ни за что не узнал, если бы не видел у Ивана Исаева дома фотокарточку трехлетней давности, где они сняты вместе в Брянске на встрече однополчан.

Под Сталинградом Федя Мезин (да простит меня Федор Васильевич, что я так его называю на страницах книги — так его звали всегда, так зовем и до сих пор) был в разведке 812-го артполка нашей же дивизии. Говорят, творил он там труднообразимое. В сталинградских степях, где каждая былинка на счету у наблюдателей и наших, и немецких, где все видно и вдоль, и поперек и даже... по диагонали, он пробирался в тыл к немцам и оттуда по рации (а иногда даже телефонный кабель протаскивал) корректировал огонь артиллерийского полка. Однажды немцы его заперенговали, окружили. Он отбивался сколько мог. Но что он мог одним автоматом! Немцы сомкнулись. И он — не сдаваться же в плен! — вызвал огонь на себя.

В послевоенной литературе много и легко пишут о таких героях, которые вызывают огонь на себя или закрывают грудью амбразуру. И кое-кому из читателей может показаться, что делается это очень просто: взял и вызвал огонь на себя, а сам в это время шмыг в укромное местечко и пересидел там, переждал этот грохот и тарарам над головой, переморщился. А потом, оглушенный, вышел... А вот представьте, что этого укромного местечка нет, некуда не только самому шмыгнуть, а голову сунуть некуда. И вот попробуй при этом вызови огонь артиллерийского полка на себя! Хватит ли духу на это... Нет. Далеко не у каждого хватит на это духу.

Как нашли и как вытащили потом Мезина, я не знаю. Знаю, что он до сих пор инвалид второй группы. И в нашей среде ему многое позволяют, на многие его странности смотрят сквозь пальцы. После очередной его выходки разведут руками — так это ж Федя Мезин! И этим будто все сказано...

С ним трудно разговаривать, но я все-таки спросил однажды, как получилось, что он вызвал огонь на себя, что он при этом чувствовал?

— А я не вызывал.

— То есть как не вызывал?..

— Я не помню. По-моему, я не вызывал. Это какой-то дурак сам по мне стал стрелять.

— Да ну-у, Федя, такого не может быть...

— Не может? Тогда, значит, вызывал. А куда было деваться — они вот были рядом, кругом. А я в азарте, наверное, сдуруто и вызвал...

Попробуй разберись — шутит он или серьезно говорит!

В другой раз он как-то печально посмотрел на меня.

— Не надо, Гоша, меня об этом спрашивать... Мне врач запретил рассказывать об этом... — Так вот этот самый Федя Мезин ввалился ко мне в час ночи.

— Ты чего, спать сюда приехал? Одевайся, пойдем ко мне в номер. Там разведчики собираются.

— Сколько же разведчиков-то? — спросил я, а сам посматриваю на смущенно улыбающегося Федеинаго спутника, по габаритам как раз в два раза уступающего Мезину. Посматриваю и никак не могу вспомнить, на кого он похож из наших ребят.

— Я не разведчик, — сказал он. — Ты меня не помнишь?

Когда он сказал, что он не разведчик, я вспомнил.

— Ты ходил в кубанке.

— Точно!

— В серой.

— Нет, в черной.

— Да в серой же!

— Ну чего ты со мной споришь, будто я не помню свою кубанку. В черной!

— Ты в конной разведке был ведь?

— Да нет же, — нетерпеливо вступился Мезин. — Он был ротным, а потом комбатом. Это Саша Фресин...

В распахнутую дверь вбежала Нина Николаевна Кочеткова, наш наиэнергичнейший секретарь совета ветеранов дивизии.

— Ребята! Договорились — ресторан для нас специально открыли — поужинать нам. Спускайтесь вниз! Ресторан за гостиной за углом.

И исчезла.

— Так сколько же все-таки нас, разведчиков?

— Мы с тобой да Иван Исаев — трое, это из девятьсот семьдесят первого. И Андрей Ворона из дивизионной. Ты помнишь Андрея?.. Ничего, вспомнишь. Лариса должна приехать. Вот уже пять человек. Больше никогда не собиралось — я на всех трех встречах был... Да вот Сашу зачислим в разведчики.

— С великим бы удовольствием, — согласился Фресин. — Я всегда любил разведчиков. Скажи, Федя.

— Это точно. Мы у тебя всегда отдыхали, перекур делали в блиндаже. И погреться там можно было кое-чем...

Когда мы пришли в ресторан, там ужин был в разгаре. Солидные и не шибко солидные, седеющие и уже совсем седые люди сидели за столиками, неторопливо ели и вполголоса разговаривали. Легкий деловой шорох висел в зале. Официантки непривычно шустро сновали от столика к столику. Не думаю, что проворство их было вызвано необычностью сидящих в зале клиентов, скорее всего тем, что шел второй час ночи и им, конечно, хотелось побыстрее освободиться и уйти домой. Через минуту подбежала и к нам девушка в передничке, приняла заказ и уже хотела было бежать, но Федя Мезин остановил, зашептал что-то ей на ухо. Та замахала руками.

— Что вы! Что вы! Времени-то сколько, посмотрите... Ничего нет...

— Но ведь не каждый день встречаются разведчики!

Она даже слушать не стала. Федя поднялся. Три минуты — не больше! — он отсутствовал. Вернулся и поставил на стол пол-литру водки, достал из кармана кружок колбасы, свежие огурцы...

— Разведчики мы или уже не разведчики!..

Через четверть часа на наш стол уже стали оглядываться — тут был шум, смех. А еще через несколько минут в зале гремела музыка из ресторанного проигрывателя, и все степенные и нестепенные помолдели, задвигали стульями — начались танцы.

Когда мы вышли из ресторана, сколько было времени, не знаю, на часы не смотрел, у меня весело мелькнула мысль: «Правду Федя говорит, не спать же мы сюда приехали...» А сзади меня Саша Фресин ругал Федю за невоспитанность — тот, уходя из ресторана, забрал нарезанные официанткой огурцы и колбасу. Федя бубнил в оправдание:

— Да не скряжничаяю, не скряжничаяю я. Утром ты же придешь ко мне. Придешь? А чем закусывать?..

— Ну ладно. А зачем тарелки-то взял?

— А я что, в кармане их понесу?.. А тарелки, не волнуйся, завтра верну. Такую симпатичную официантку не могу же я в раззор ввести...

Я шел впереди и думал: «Боже мой, а ведь они ни капельки не меняются — так всю жизнь и не могут остепениться... Все-таки, наверное, характер человеку дается на всю жизнь один...»

Меня так и подмывает вспоминать и вспоминать все новые и новые детали этой встречи однополчан во Владимире-Волынском. Но я боюсь уйти от главной темы — все-таки книга-то о разведчиках. А я бы с превеликим удовольствием написал бы о Саше Фресине. Он воевал легко и красиво. Но он не разведчик, как говорят, не в строку лыко.

А вообще-то, сколько интересных людей можно повстречать в советах ветеранов дивизий, корпусов, армий! Большинство из них скромно прожили жизнь, не выступали на шумных пионерских сборах, на вечерах воспоминаний, не мельтешили они во всевозможных президиумах. Прожили эти люди тихо и скромно. А дела, которые они делали в войну, заслуживают того, чтобы о них знали все. Вот и Саша Фресин, всегда веселый, улыбающийся, независимо от того, что у него на душе творится, Саша, а если совсем точно назвать — подполковник Шлема Израильевич Фресин, увешанный орденами и медалями до пояса с обеих сторон груди. Только о нем (конечно, с его батальоном) можно написать книгу.

Но он не разведчик!..

Абсолютная противоположность Саши Фресина — бывший командир минометной роты Владимир Митрофанович Красовский. Если комбат Саша Фресин — разухабистая натура, которому, как говорят, море по колено, то ротный Красовский — человек сдержанный, аккуратный до пунктуальности, степенный. Орден у него, правда, чуточку поменьше, чем у пехотного комбата, но все они приколоты на два продолговатых лоскуточка материи такого же цвета, как и костюм, лоскуты же эти пришиты с левой и с правой стороны груди. Пришиты аккуратно — издали даже не заметишь, что пришиты. Ордена начищены.

Ходил Красовский во Владимире-Волынском в сопровождении двух своих солдат Льва Беленького и Владимира Мародудина. Тридцать лет спустя солдаты, живущие один в Горьком, другой в Орле, собрались и приехали к своему бывшему командиру в деревню Слобода, что под Минском, где тот работает сельским учителем. Вот как они сами описывают эту встречу.

В далекую приехав Слободу —
Хотелось встретиться нам с ротным,—
Глядим: он возится в саду,
В осеннем царстве огородном.

Как видно помогал жене,
Армейский наводил порядок...
И вот с лопатой, в тишине,
Идет наш ротный между грядок.

Не в гимнастерке боевой,
Пропавшей дымом, — в строгой,
В рабочей телогрейке той
Встречает нас он в огороде.

Идет Красовский прямо к нам,
Идет он медленно и странно,
И слезы... слезы по щекам
Текут у нас и капитана.

Была победа не легка.
Мы вспоминаем нашу славу,
Солдат стрелкового полка
И бой у города Бреслау.

Как будто вновь гремит война.
А мы стаканы поднимаем
И не пьянея от вина,
Дороги наши вспоминаем.

И вспоминаем мы ребят,
Всех тех, кого нет с нами ныне,
Отважных молодых солдат,
Навек уснувших на чужбине...

Сидим мы трое за столом,
Сидим мы, старые солдаты,
Мы вспоминаем о былом,
Мы вспоминаем сорок пятый...

Потом уехал я домой,
Отдав поклон полям и хатам.
Остался славный ротный мой
В краю далеком и богатом.

...И снится мне, что ротный мой
Идет по золотому полю,
Идет красивый и седой
Учить детей в слободской школе.

Пускай идет за годом год —
Друг друга мы не позабудем,
Такой уж мы теперь народ:
И ты, и я, и Мародудин.

Стихи, конечно, далеки от поэзии и авторы не претендуют на поэтическую славу. Мне эти товарищи дали стихотворение только после многократных просьб, уже в вагоне по дороге домой.

Я был свидетелем, как встречали Владимира Митрофановича на пограничной заставе, территорию которой освобождала его рота в сорок четвертом.

Но больше других ветеранов войны (я в этом уверен) заслуживают внимания советской литературы и советского кино наши женщины-фронтовички. Женщины-фронтовички вообще, не только нашей дивизии. Из нашей дивизии на встречу приехало не так уж много — всего восемь человек. Это — полуполегарная гордая Лариса-разведчица, перед храбростью которой мы, ее товарищи, склоняем головы. Тяжелая судьба в жизни выпала на долю этой женщины. Это — военфельдшер 812 артополка нашей дивизии Шура Кузьмина; это — работники дивизионного медсанбата Аня Комарова и

Клава Курбатова, медики из санитарных частей полков Алла Резвова, Елена Игнатьева, Сима Осипова; это не приехавшие на встречу Нина Лиликина из города Куйбышева, Марина Кокурина из города Ухты, Прасковья Зинукова из Пензы, Евгения Аракалова из Баку...

Их, фронтовичек, доживших до сегодняшнего дня, осталось не так уж и много — на город по несколько человек всего лишь, и с каждым днем становится все меньше и меньше. На каждую из этих женщин война наложила свою неизгладимую печать, скольким она искалечила всю жизнь. Почти все из названных выше инвалиды войны — значит, они отдали Родине самое дорогое в жизни — свое здоровье. Большинство из них ушли тогда на фронт добровольцами — они добровольно, на равных с мужчинами подставили свои хрупкие девичьи плечи под общую страшную ношу.

Люди! Не забывайте их!

На обратном пути из Владимира-Волынского автобусы в Торчине завернули к музею боевой славы, около которого нас ждали с цветами школьники. Ребятня окружила нас, едва мы вышли из автобуса, произошла какая-то сутолока, маленькая неразбериха. Смотрю, я оказался без цветов. Ну что ж, думаю, я тут не воевал, не буду примазываться к чужой славе...

Когда, вытягиваясь в цепочку по тропинке, все направились к музею, вижу, не я один без цветов. Зато чуть ли не по обертке цветов у Ларисы Перевозчиковой и у Феди Мезина. И только тогда все стало ясно, когда мы вошли в музей — там на очень приметном месте рядышком портреты Ларисы Зотиковны и Федора Васильевича. Оказывается, их, этих двух великолепных разведчиков нашей дивизии, разыскали ребята несколько лет назад и все время вели с ними переписку, очень ждали их в гости, как они сказали, «хотя бы на неделю», и когда те наконец заехали к ним на несколько минут, у каждого было естественным желанием вручить от себя цветы именно им...

В поезде мы разместились в двух соседних вагонах. Было оживленно — ни за что не скажешь, что этим людям всем без исключения за пятьдесят. Хотя, может, не скажут это те, кому тоже за пятьдесят, а тем, кому половина из этих пятидесяти от роду, может, покажемся мы совсем стариками?

Но нам до этого дела нет. Сколько лет прошло после войны, а разведчики так

особняком и держатся (хотя танкисты, артиллеристы, летчики, связисты — то же самое), и стоит только где-то встретиться даже незнакомым разведчикам, они уже свои люди. Поэтому вполне естественно мы — Иван Исаев, Лариса и я — очутились в одном купе, пожалуй, почему-то самом шумном. Говорили без умолку (конечно, в основном, не разведчики), словно торопились побыть в своей, уже вшедшей юности. Завтра-послезавтра каждый вернется домой и снова станет кто дедушкой, кто бабушкой, свекром или свекровью, будет ходить по квартире в шлепанцах и держаться за поясницу, за сердце. Глотать таблетки. А на следующей встрече кого-то уже не досчитаются...

В наше купе прибежала Нина Николаевна Кочеткова, глаза горят, щеки пылают.

— Ребята! Сейчас я вам сцену изображу. Пот-ря-са-ющую!.. В наш вагон пришел Федя Мезин и говорит: «Семен Сергеевич, вы боевой, заслуженный генерал. Киев должен, обязательно должен встретить вас музыкой, торжественным маршем. Мы этого хотим!» А у генерала в Киеве сестры живут, он решил их попроведать и сойти здесь. Федя говорит: «Разрешите выставить на перроне оркестр? И сыграть встречный марш!» Представьте, ребята, бедный наш генерал затрясся, замахал руками при всей-то его корректности: «Что вы, что вы! Ни в коем случае!» Федя повернулся и пошел из купе, даже не дослушав. — Нина Николаевна передохнула, на полтона сбавила. — Генерал же наш — это сама вежливость. Поднялся — и за ним. Эта картина потряса-ающая! Ее надо видеть!.. У Фе-ди плечица как раз во весь проход. Генерал обогнать его не может и поэтому семенил следом и только одно в эту широченную спину повторяет: «Товарищ Мезин, я вас очень прошу — нельзя этого делать... Не положено это делать по этикету... Товарищ Мезин...» А Федя дошел до конца вагона, у тамбурной двери поворачивается вот так, — Нина изобразила величественный поворот, — и прямо в упор его спрашивает таким артистическим тоном: — «Ну так как, товарищ генерал: да или нет?» И ушел в вагон-ресторан.

Нина вскочила, засобиралась.

— Что будет дальше — не представляю! Генерал расстроен. Я его успокаиваю — во-первых, где сейчас Федя найдет оркестр и кто на ночь глядя согласится играть на перроне? А он свое: «Мезин ведь все может». Побегу, посмотрю, как там наш генерал...

Она убежала. Мы начали готовиться к Киеву — кое-кто из наших там должен сойти, делать пересадку. Обменивались адресами, наказывали не забывать, писать.

Вот поезд плавно подошел к перрону, мы всем купе направились к выходу. И вдруг на перроне грянул оркестр. Не буду утверждать, нарушил ли он писанный и утвержденный этикет, играл ли он встречный марш (или какой там еще, которым положено встречать высокопоставленных лиц), но какой-то торжественный марш гремел по киевскому перрону. Наш генерал стоял на площадке соседнего вагона и смущенно бормотал:

— Ну, това-арищи, так же нельзя. Я же просил...

Генерал-лейтенант Лотоцкий одиннадцать лет — почти треть службы в армии — провел в Генеральном штабе, под его редакторством вышло несколько военных учебников, он всегда предельно тактичен и вежлив.

— Неудобно же так, товарищи, — обратился он к нам за сочувствием.

Федя стоял и дирижировал оркестром, по-моему, впереди дирижера.

Стали останавливаться любопытные. Моментально нарастала толпа. И вдруг несколько сильных голосов затянули «День Победы». Весь перрон тут же подхватил эту песню. Люди все подходили и все пели. И никому уже нет дела — как в «Василии Теркине», «кто играет, чья гармонь» — уже никого не интересует, встречают ли кого-то или провожают, в честь чего и в честь кого играет оркестр и гремит песня. Даже сам генерал, вижу, шевелит губами — тоже поет. Кое-кто плачет, обнимается... Федя, Федя, ты чудесный, добрый парень. Ты от чистого сердца затеял все это «мероприятие» с оркестром и весь перрон растрогал до слез. И недаром к тебе льнут ребяташки — они очень чутки к добру, к настоящему, а не показному. Вокруг тебя и во Владимире-Волынском, и в Торвиче постоянно была детвора, висла на твоих могучих плечах, о чем-то шепталась с тобой, секретничала, как с лучшим другом...

Федя Мезин тоже сходил в Киеве. Мы расцеловались с ним крепко — доведется ли еще встретиться, кто знает...

Дальше мы ехали втроем — Иван Исаев, Лариса и я.

В Москве у нас с Иваном Исаевым состоялась встреча с бывшим начальником разведки нашего полка Павлом Антоновичем Качаровой, умнейшим и чудеснейшим человеком.

О Качараве мне хотелось бы написать особо.

Мы пробыли в Москве с Иваном несколько дней. Что меня сильно удивило: он, житель сибирской глухомани, свободно ориентируется в столице! В первый день, едва мы устроились в гостинице, Иван отправился к родственникам. А утром я только вышел из номера — вижу его. Он добрался из конца в конец Москвы в часы «пик» — с Ленинских гор на Бутырский хутор!

— Ваня, и ты не заблудился?

— А чего я заблужусь? Мы же с тобой вчера здесь ехали...

Как будто по таежной тропе — вчера прошел, сегодня еще след сохранился.

В один из тех дней, пока мы были с ним в Москве, 13 мая, исполнилась седьмая годовщина смерти нашего бывшего командира полка. В этот же день мы, группа однополчан, собрались у его могилы на Ваганьковском кладбище.

Бюст на гранитном надгробье совсем отдаленно напоминает того человека, которого я знал когда-то. Только медленно обходя скульптуру, в каких-то двух-трех ракурсах, я вдруг увидел что-то очень знакомое. Может, не похож он на того, привычного мне сугубо невоенного потому, что был он в генеральской папаче?..

Кто-то заметил:

— Он так любил жизнь, что даже здесь оказался спиной к кладбищу, а лицом к городу, к жизни...

И я тогда подумал: камни, конечно, живут дольше, чем люди, но они потому и живут, что олицетворяют человека. Они потому и живут, что их оживляет человек. Так будет долго жить в памятном надгробье в центре Москвы генерал-майор Герой Советского Союза Михаил Михайлович Мещеряков.

По дороге с кладбища кто-то рассказывал, что когда Михаил Михайлович был уже безнадежным и врачи никого к нему не пускали (а в это время как раз произошла встреча однополчан и все они пришли к нему), то в палату к нему все-таки проскользнул Федя Мезин. Удивительно, но бывший командир полка сразу узнал своего разведчика, хотя не видел его к тому времени уже двадцать семь лет! Он поцеловал Федю за всех разведчиков нашего полка и сказал тихо:

— Прощай, сынок...

Теперь он сам уходил от нас...

В тот же день, 13 мая вечером, мы с Иваном улетали из Москвы в Барнаул — он поехал ко мне в гости.

„ОДНИМ СЛОВОМ — РАЗВЕДЧИКИ“

ИЗ РАССКАЗОВ АНДРЕЯ ВОРОНЫ

О подвигах у нас рассказывают много. Даже чуточку лишку — там, где просто рядовой случай был, стараются преподнести его как подвиг. Иного послушаешь — сплошные подвиги совершал человек на войне. Мне кажется, зря это делают.

Подвиг надо уважать. Перед подвигом надо преклоняться, и нельзя никому позволять им затыкать любую дыру в воспитательном процессе. Вот так мне кажется.

Я пробыл в разведке долго. Мне повезло — ничем иным я не могу объяснить свои удачи. Бывает так — везет человеку! Конечно, ни с того ни с сего, как говорят, не повезет. Надо чуточку смекалки, чуточку разворотливости, чуточку знаний психологии войны, ну и наконец просто не надо бояться. А бояться действительно не надо — трусливых на войне убивают чаще. Это точно.

А подвиг? Не знаю, подвигов я не совершал и не видел как их совершали — из моего близкого окружения никто не получил звание Героя Советского Союза.

Мне, например, от войны больше запомнились неудачи... Да, да те самые неудачи, после которых возвращаешься без «языка», когда на душе, как говорят, кошки скребут. Должно быть, характер у меня такой — ведь каждый помнит то, что ему больше... запоминается. Мне — неудачи. Они ведь больше дают человеку опыта, чем удачи!..

Для меня и война-то началась с полной неудачи. Хотя это слишком мягко сказано — с «неудачи» — с трагедии. С трагедии кошмарной, ужасной даже в условиях войны. Почти на глазах у меня — как только мы прибыли под Котлубань — погибла рота автоматчиков во главе с командиром девятьсот семьдесят первого полка капитаном Павленко. Она на танках высадилась на высоту сто сорок три и четыре десятых, захватила ее и потом, отставивая ее, вся там полегла до единого человека. А через три или четыре дня командир дивизии полковник Валюгин эту же задачу поставил перед нашей разведротой — уже некого было посылать. Приказал занять эту высоту любой ценой и держать до подхода подкрепления.

И вот мы пошли в наступление. Ребята — орлы! Отборная рота. Одним словом — разведчики. Как двинули — немцы заелозили, давай пятиться. Мы заняли первую линию обороны, потом вторую. Потом немцы пустили на нас танки. А у нас отбивать нечем — ничего противотанкового. Начали шукать по немецким окопам. Нашли всякие ихние пэтээры, по-моему, даже какую-то противотанковую пушчонку. И давай — ихним же салом им же по мусалам. Отбили. Правда, ни одного танка не подожгли и не подбили, но повернуть повернули все. Главное, их автоматчиков отсекли.

Еще продвинулись. Короче говоря, высоту эту, многострадальную, мы заняли. А оборонять ее уже некому было — из семидесяти человек осталось двадцать пять. А еще немного погодя — человек десять...

К вечеру немцы начали нажимать на нас — почуяли, что нас мало. Теснить стали и, главное, окружать. Помощь, которую обещал комдив, что-то не видать (мы уж начали оглядываться — а что толку, высоту-то не бросишь), а немцы уже внизу, у основания высоты. Ясно стало каждому, что нас окружили.

Тут моего друга ранило — обе ноги перебило. Смотрит так на меня просяще: «Помоги: или дострели, или что-то сделай. Вы же отступаете...» Нет, говорю, не отступаем. Обе ноги у него и еще в грудь ранен. Что я ему могу сделать, чем помочь — все кругом погибли? Сделал ему перевязку как мог хорошо и говорю: «Лежи туточки, Лариса придет, усе зробить, як треба...» А Лариса с нами не ходила в наступление, командир роты приказал ей остаться на переднем крае. Так вот другу-то я и говорю: подожди, дескать, Ларису. И ушел. А что я ему мог сказать? Тем более другу! Сказать, что нести его некуда?..

Ну а дальше — дальше вот что было. Осталось нас четверо: Кармышев, командир взвода, Иванов, я. И мы отошли. Отошли в сторону. Там бурьяны во какие! Чуть ли не в рост человеческий! Между убитыми мы и легли. Там трупы один возле другого. Метрах в двадцати от нас немцы ходят. А у нас патроны давно кончились.

Стало развидняться. Лежим. Немцы ходят в полный рост, гыргычат. А мы лежим, не ворохнемся. А куда деваться? Осталось у нас две винтовки — в каждой по обойме — да пистолеты. Ходят, котелками гремят. Сейчас многие, наверное, думают, что можно было сидеть в бурьянах и постреливать немцев — в кино-то теперь показыва-

ют, не из таких положений будто бы на фронте уничтожали немцев. Не знаю, наверное, в кино из любых положений можно, а мы тогда (я бы не сказал, что мы трусили — дело прошлое — нет, нам терять было нечего), мы тогда просто здраво рассудили: ну, подстрелим мы, допустим, каждый по немцу? А дальше что? Они просто-напросто возьмут и подожгут эти бурьяны и поджарят нас, как рябчиков. Только живьем.

Днем по этой высоте начали бить наши «Катюши». Во где дали жару! Не только немцам, но и нам тоже. Я уж думал: все! Вот теперь-то конец нам!.. Нет, выжили.

Весь день пролежали. Начало темнеть. Стали сползаться в кучу. Что делать? За командира роты остался лейтенант Кармышев. Говорит: «Покидать высоту я не имею права — приказ комдива держаться до последнего. Надо послать связного в дивизию — может, нам поставят другую задачу». «Какую другую? — говорим мы. — Нас же ведь четверо всего-навсего! Какую задачу мы сможем выполнить?» А он говорит: «Может, будут наступать снова, а мы отсюда поддержим». «Чем?» «А просто даже если закричим у немцев в тылу порусски... матом. Знаешь, сколько паники будет! Представь, — говорит, — у тебя за спиной во время наступления немцы бы замормотали, небось, закрутил бы головой, не знал бы, куда в первую очередь стрелять...» А что? — решили мы, — правильно говорит лейтенант. Спрашивает: «Кто пойдет через линию фронта?» Я говорю: «Я пойду. Я — детдомовский, по мэнэ плакать некому». Он говорит: «Нет, тебя не отпущу. Со мной будешь».

Пошел тот паренек, фамилию которого я теперь забыл. Ушел он середь ночи. Назад, значит, его ждать надо на следующую ночь. Пролежали в бурьяне опять целый день. Ночью он не пришел. До утра ждали его. Так до сих пор ни туда не пришел, ни обратно не вернулся. На третью ночь Кармышев посылает Иванова.

Остались мы вдвоем. Снова лежим в бурьяне. Я этот бурьян всю жизнь ненавижу, не потому что он сорняк, а потому что пролежал в нем столько суток без еды, а главное не пивши. А запах! Там же сотни, многие сотни трупов — и наших, и еще больше немецких — лежат на этой высоте и разлагаются в жарницу — дышать нечем.

Еще день пролежали. Ночью Иванов заявляется — мы почему-то уж и не ожидали. Говорит: «Майор Безрученко (началь-

ник разведки дивизии) сказал, чтоб выхо-
дили».

Стали расспрашивать его, как он прошел туда и обратно линию фронта — нам-то как теперь выбираться? А он говорит, немцев не так уж много. Я, говорит, в полный рост шел отсюда к передовой, правда, на немцев напоролся.

Говорит, подобрал по дороге немецкую винтовку. Шагаю. Стрельбы нету, тихо и, главное, темно. И вдруг ни с того ни с сего откуда-то из темноты протянулась рука, взяла у меня винтовку, кто-то заломил мне руки — я уж не сопротивлялся — почему-то был уверен, что в такую темень я непременно убегу, что весь этот плен — дитячьих игрушки. Обыскали, говорит, они меня — а их двое было — забрали финку. А я, говорит, будто заранее знал, что попадусь к немцам, взял свой трофейный браунинг привязал на матузочек и спустил в штанину ниже колена. Думаю — сгодится.

Привели, говорит, меня к самому переднему краю — немцы-то, должно быть, туда шли — показали на окоп. Я спрыгнул туда, сел на кукорки. Один из немцев залез ко мне и сел напротив. С автоматом. Сидим один против другого. А второй немец пошел, должно быть, докладывать начальству.

Мы сидим, говорит Иванов. Я думаю, как бы достать тот браунинг из штанины да тюкнуть своего охранника, пока другой не вернулся. А он взял и помог мне, как все равно подслушал мои мысли — его приспичило, вылез он из окопа и тут прямо наверху сел оправляться. Я, говорит, браунинг достал, в лоб этого немца тюкнул — даже и выстрела, по-моему, никто не слышал, какое это оружие, браунинг, пукалка. Вылез из окопа и попластунски переполз нейтралку. Добрался к нашим. Доложил майору Безрученко, тот и говорит: пойди, приведи их сюда. Вот, говорит, я и пришел. Собирайтесь.

А чего нам собираться? Поднялись и пошли.

Короче говоря, мы четверо суток не жра-
мши и, главное, без воды. Есть не так хоте-
лось, как пить. Поэтому тут же, прямо на
нашей передовой, припали к какому-то бо-
лотцу и давай пить. И только потом почув-
ствовали, что вода какая-то густая. Я потом
дня через два был снова около этого боло-
та — там червяки во какие плавали — ло-
шадки убитые лежали там вповал — потому
и густая такая вода... Короче говоря, не ус-
пели мы отойти и несколько шагов, меня
что-то закрутило. Иванов — ничего. Он ма-
ло пил. А Кармышева тоже заморозило. И

даже наподобие того, что сознание уже те-
ряем. На наше счастье машина попалась —
майор Безрученко послал навстречу нам,
ему позвонили с передовой, что мы верну-
лись. Посадили нас в ту машину да в сан-
бат. Выкачали из нас всё, привели в чув-
ство...

А потом прошло сколько-то дней — три
или четыре — нас сызнова послали на эту
же высоту. Набрали человек двадцать
пять из всех штабных служб и комдив при-
казал выбросить нас на ту, богом клятуя,
высоту танковым десантом. Возглавлял
опять Кармышев.

Я уж теперь не помню, сколько было тан-
ков — четыре или шесть. В общем, на танк
человек по пять село. Поехали. Лариса с
нами в этот раз была. Она перевязывала
наших. Помню, тут мы одного немца, май-
ора медицинской службы, взяли. Когда хо-
тели его отправить в тыл, он говорит, надо,
мол, медикаменты взять. Мы его отпустили.
Он пошел в блиндаж за медикаментами, а
кто-то из наших ребят за ним следом. А он
вошел в блиндаж, да не за медикаменты
ухватился, а к пулемету кинулся. Ну тот
его и кокнул.

Поехали обратно эту высоту брать — все
же не пешком идти...

Я сначала за башню сел. Так сам себе
маракую: ежели будет бить немец по танку,
пули все-таки будут обтекать меня вместе с
башней. Танки поначалу быстро пошли, а
потом вдруг началась сильная стрельба.
Смотрю, что-то пролетело такое, наподобие
болванки. Упала и так крутится какая-то
железяка. На земле. А танк идет. Потом
как ударят по другому танку. Главное, па-
разит, как ударил, так башня и слетела.
Это по соседнему. Я думаю: сейчас и по
нашему огреет. Надо прыгать с него.

Хоп — танк остановился. Все поспрыги-
вали на землю. Я тоже спрыгнул. Танк по-
шел вперед, я за ним укрываюсь. А немцы
палят — высунуться из-за танка нельзя!..
Танк остановился неожиданно — я аж на-
ткнулся на него. Танк стоит, я стою. Танк
пошел вперед, потом как назад поедет —
кто по его следу сзади шел, чуть не задави-
ло. Это он, называется, маневрирует. (Ду-
маю: с вашими маневрами.) И за немцем
следи, и с танка глаз не спускай — запросто
задавит.

А танк далеко не идет, должно быть, то-
же боится оторваться от своих, а так вот
взад-вперед елозит — маневрирует. Ну я
взял обежал его, выскочил вперед метров
на тридцать и лег. Лег и лежу, поджидаю,
когда все наши до моего уровня продви-

нутя. А сам не тороплюсь — я уже эту высоту брал, я на ней уже был. А притом один же я всю высоту не захвачу. По танкам бьют и по пехоте попадают. А меня не задевают ни осколком, ни пулей. Я, конечно, схитрил, что вперед танка выперся, ну пусть так каждый «схитрит» — бежит не назад, а вперед...

Танки маневрировали, маневрировали и отправились восвояси. И нам передали команду отходить.

Но раз танки ушли, разведчики ушли, а мне чего лежать? И я приполз назад. Последним...

А еще был такой случай у нас там же, под Сталинградом, только уже зимой, когда окружение ихнее ликвидировали. Немцы отступают и колоннами, и всяко — кто как сумеет. Надо было перерезать им пути отступления. Причем, в двух направлениях они отступали. Был там совхоз номер один и совхоз номер два. Так вот, послали две группы. Одна ушла на совхоз номер один. Так по сей день не вернулась. Пять разведчиков. А я пошел в другой разведгруппе. Возглавлял ее.

Немцы, как правило, отступают по балкам, потому что и пройти можно незаметно, и не так холодно, ветер не продувает. Мы пробрались в одну из отрожин балки. А она сплошь забита автомашинами. Залезли в автобус. В нем тихо и нас не видно, а мы все видим. Только мы расположились, посмотрим, откуда-то появился немец и — за наш автобус, так сказать, по малой нужде. Я мигнул ребятам — двое выскользнули бесшумно из автобуса, хватя его сзади. Он перепугался, как реванет: «Не немец я! Русский я». Говорю: «Тем более волоките его сюда, коль он русский, по-своему, мол, поговорим с ним...» Это я так для красного словца сказал — ничего мы с ним не делали, на хрена он нам сдался. Я только спросил, кто такой, почему в немецкой форме. Трясетя весь, говорит: «Из пленных я. Нас тут много вон в землянке, немцы взяли к себе по хозяйству работать». «В холоду, значит?» Кивает — точно так, мол. «Оружие, спрашиваю, есть?» Протягивает наган, с барабаном который, семизарядный. Говорит: «Тут целый склад этого оружия. Могу показать и помочь». Думаю: не нужна нам твоя помощь. Ты уж раз «помог» — перебежал к немцам.

В общем, пленного мы отправили в тыл — пусть его допрашивают те, кому положено и кому это интересно, мне он не

нужен после того, как указал, где дорога, по которой немцы должны проходить. Колонну немецкую мы, конечно, в пух и прах расшерстили — немецкий полк был на марше, не ожидал у себя в глубоком тылу засады. Мы подползли метров на тридцать, видно было, что винтовки тряпками замотаны и стволы позатыканы паклей с ружейным маслом. Не успели отогнуть — не понадобилось. Но не об этом я хотел рассказать — это не подвиг, колонну расстрелять, хоть и вооруженных. Я про наган про этот трофейный хотел рассказать. Такой же паразит-изменник оказался, как и его хозяин.

А дело было вот как.

Когда мы этот немецкий полк на марше в ключья расхлестали, пошли дальше. Теперь уже нам задачу ставил Мещеряков. Когда все полки дивизии слили в один мещеряковский, дивизионную разведку подчинили тоже ему. Так вот он приказал нам разведать одну балку в сторону Городища. Кармышев и посылает нашу группу, говорит, разведайте хорошенько эту балку, в ней штаб дивизии будет размещаться.

Пошли. Километра два уже продвинулись по этой балке — тихо, немцев вроде нету. И вдруг мне помстилось: из трубы одного блиндажа наподобие дымка вымакнуло. Я — ребятам: «Пойшли, побачимо». Пошли. Я дверь открываю, а дверь вовнутрь открывается, смотрю, там ступеньки и еще одна дверь. Я опять: «Вот ей-богу, кто-то есть», а сам по ступенькам спускаюсь. Вторую дверь толкнул и тут же навстречь мне летит граната. Под меня летит. А там посреди блиндажа печка стояла, «буржуйка», из бочки железной сделанная, а за бочкой офицер лежит, немец. Он-то и бросил гранату. Граната ко мне под ноги, я ноги расшеперил, она проскочила промеж ног.

Я кричу туда, назад, ребятам: «Граната!»

Ребята врассыпную. А мне деваться некуда — я дверь захлопнул и спиной ее прижал, пусть за дверью рвется. А больше сделать ничего не могу: автомат у меня поперек груди, развернуться с ним я не могу, пистолет в кобуре на боку. Ближе всех оказался тот самый наган, который у пленного взял. Его я выхватил из-за пазухи. А кругом нары двухъярусные, а на нарах полным-полно немцев — может, человек полсотни — и все смотрят на меня, а я смотрю на того офицера за бочкой: он достает и никак не может достать из кармана парабеллум. Я в него из нагана — р-раз!

осечка, я снова — р-раз! — опять осечка. А он свой парабеллум наконец вытащил... А все это — секунды... Он на меня свой парабеллум. Мне раздумывать некогда — я прямо этим наганом ему по башке. Да видно так удачно угодил — с одного удара он с копылков долой!

Тогда я ремень автоматный через голову одним махом сдернул и с левой руки из автомата по нарам... как нажал на спусковой крючок, и не понял — то ли застрочил автомат, то ли нет — за дверью граната в это время как ухнет!..

И тут же ребята вскочили.

Что после этого было! Наверное, сам аллах там не разобрал бы. А я уж и рассказывать не буду.

Так вот я из-за этого нагана чуть не погиб. Это говорит о чем? О том, что оружие свое холь и лелей, как жинку молодую... А чужим не пользуйся — подведет...

За Вертячим, помню, еще такой случай был. «Язык» нужен позарез... А когда он не нужен был! Я что-то не помню такого дня, когда бы «язык» не нужен был бы... Ну а тут именно позарез, особенно нужен был. Это как раз перед общим наступлением на группировку немцев. А мы ходим и все впустую. Майор Безрученко как напустился на нас: «Вы почему, говорит, приказ не выполняете?» Я ему говорю: «Неможно узять «языка» — у них таки, кажу, укрепления, така оборона перекрестная...» «А куда, говорит, вы смотрели четыре дня?» — «Мы же, говорю, когда наблюдали-то, не знали, что они такие переполоханные». — «Это вы, — говорит, — переполохались немца, а не немец вас...» И понес. Говорит, чтоб завтра был «язык» и чтоб без потерь, сам, говорит, пойду с вами. «Ладно, говорю, пойдемте...»

Пошло нас двенадцать человек, а вернулись оттуда двое.

Но я хочу рассказать, как мы того «языка» брали. Распланировали все до мелочи, отработали деталь за деталью: две группы прикрытия, левая и правая по два человека, они должны быть настороже и готовы мгновенно подавить любую огневую точку противника; группа захвата из трех человек, ее задача хватать и бежать! Назад бежать. Остальные пять человек должны непосредственно помогать группе захвата — они должны бросать гранаты и вообще собой прикрывать тройку из группы захвата. А когда группа захвата побежит с пленным, они должны остаться и прикрыть. По-

том, по очереди прикрывая друг друга, группы отходят.

...А у нас что получилось? Сначала все шло, как и планировали: подползли, забросали гранатами блиндаж и траншею, вскочили туда. А там брать-то и некого — всех поубивало! Правда, если б было время, можно было пощупать — у кого-нибудь пульс еще работает. В общем, заварилась такая каша. наших уже много убило. Лариса таскает раненых. Прямо под огнем. А немцы двумя пулеметами отсекли кинжальным огнем нас от нашего переднего края.

И что характерно — почти всех наших побил один немец. Он, гад, стоял в блиндаже и через открытую дверь короткими очередями из пулемета с руки накашивал наших. Кто-то из ребят заметил это, бросил туда гранату. И сразу вдруг стихло.

И тут неожиданно из этого блиндажа выскочил и кинулся бежать в свою сторону большой такой немец. Я — за ним. Догнал. Схватились мы. Но я заморенный уже. А он, по-моему, офицер, мордяка во какая! К тому же он раздетый, а на мне телогрейка, маскаллат. Он меня отбросил и снова бежать. Я ему: «Хальт... Хальт!» А он никак. Я опять догнал его и автоматом стукнул на бегу. Он малость зашатался. Пока я соображал, что с ним делать, он набросился на меня. Придавил меня, паразит, к земле и норовит у меня автомат вырвать. Нет, думаю, автомат я тебе не дам. И тут один парнишка, наш разведчик Иванов, тот самый, который выводил нас с Кармышевым осенью с высоты сто сорок три и четыре десятых, подбежал ко мне на помощь, ткнул немца по затылку диском автомата. Тот и обмяк.

Значит, я лежу, очухиваюсь, немец около меня тоже лежит, а парнишка тот над нами стоит. И вдруг со второго блиндажа очередь дали, и он упал. Наповал его, бедного. Даже не ойкнул, парнишка...

А немец, который около меня лежал, очухался, вскочил и опять бежать. Только побежал он теперь в нашу сторону. Перепутал, куда надо. Я его не останавливаю, бегу следом. Думаю, хорошо, сам добежит, не тащить...

А он не добежал до наших окопов, сердешный. Чуток не добежал. Пулеметная очередь его пересекла. Своя же — ихняя то есть, немецкая. Пришлось мне потом ползти к нему, чтоб документы вынуть. Документы — это, хоть и не «язык», а все равно на пятьдесят процентов задание выполнено — сведения о противнике...

Так вот операция эта и закончилась. Четверых Лариса вытащила раненых, шесть погибло, а двое мы вернулись...

Но самой запоминающейся вылазкой за «языком» была у меня на Брянщине осенью сорок третьего. Там мы ходили в тыл к немцам. По прямой километров на двенадцать углубились, а так если считать, то километров шестьдесят напегляли. Ходили мы большой группой — чуть ли ни около взвода нас было.

Засекли мы одну артиллерийскую батарею, скопление автомашин, — не иначе какое-то транспортное подразделение — обо всем этом передали по радиации в штаб дивизии. Попросили разрешения наделать тарараму. Комдив сказал: не трогать. Шоссейную дорогу — машины по ней без конца снуют — тоже не трогать. Приказал отдыхать и ждать дополнительное задание.

Выбрали полянку недалеко от просеки, расставили дозоры и легли спать. Как дома разлеглись. Дозорным приказ: при появлении немцев ни в коем случае не стрелять, по возможности пропустить беспрепятственно. Ну а получилось так: дальний дозор пропустил с десяток немцев, шедших по просеке, и подал сигнал тому дозорному, который около нас, около поляны. А тот как раз задремал. Открыл глаза, а немцы в десяти шагах. Может, они бы и прошли, но он спросонья растерялся, нажал на спусковой крючок. Сколько он их побил — стрелял ведь в упор — мы не считали.

Короче говоря, буквально через минутку две по нам стали бить из минометов. Мы — в лес. Минометы жарят по просеке (думают, что мы воспользуемся удобствами просеки), а мы напрямки по лесу чешем. Единственное спасение — наши ноги. Слышим, немцы уже преследуют нас — слышать голоса. Заскочили в болото. Пробежали одно болото. Второе. Немцы кругом нас — по голосам определяем. Заскочили в третье болото. Хлюпали, хлюпали по нему — конца краю нет. Притаились. Вода до пояса, а где и выше. Аж так и тянет туда, в пучину... Сидим. Немцев чуть слышать — значит, далеко ушли. В кусты залезли, чтоб не видно было, по самую шейку в воде. Двое суток просидели так.

Немцы разошлись. Когда мы вылезли, запросили штаб дивизии по радиации. Майор Безрученко приказал никого не трогать, возвращаться домой. Вернулись.

А батарею эту и скопление автомашин

«катюши» накрыли — мокрое место осталось.

Мы не потеряли ни одного человека. Только Лариса после этого сиденья в болоте почками мается до сих пор — не женское это дело в вонючем болоте сидеть по двое суток...

А еще был у нас такой случай — это опять же под Сталинградом. Смешно вспомнить, какие замордованные были там немцы. Я его под зад ширнул, немца, чтоб проворнее шевелился, а у него на задку одни мослы, мяса-то нет на ягодицах...

А по порядку если, то так это было.

Облюбовали мы место для захвата «языка». Подползли. А за этим блиндажом немецкий дот стоял с пулеметом. Он время от времени постреливал. Как-то это было привычно, когда были далеко. А как подползли близко, этот пулемет забарабанил — по коже мураши забегали, почти над ухом стреляет. Ну хоть не «почти», а метров двадцать. Все равно — кажется, чувствуешь его дыхание из ствола, будто слышать, как пули вылетают. Но ребята лежат — ни шороху, обстрелянные. Переждем пулеметную очередь и — опять вперед.

А потом получилось так, что ребята переползли такой брустверочек, а я замешкался, хотел посмотреть сзади на всю обстановку. И вдруг этот пулемет как застрожит — вроде похоже, что заметил нас. Пули низко идут, того и гляди заденут. Я за этот брустверочек притулился. А он режет и режет. Я полежал, полежал и думаю: долго я тут буду лежать? А ребята за бруствером лежат, ждут меня — молчат, замаскировались. Расползлись. А потом вдруг с другой стороны пулемет еще один ударил повдоль бруствера. Ну, думаю, тут-то уж он непременно заденет. Пошарил руками — вроде окопчик рядом, да такой узкий, с кровать, сверху закрытый, а тут, около меня, дырка.

Я только туда было наострил прыгнуть вниз головой — чую, кто-то там есть. Мац рукой — винтовка торчит. Немецкая. Свою-то на ощупь определяю. Значит — немец. А он тоже, наверное, догадался, с кем дело имеет. Хотел какие-то меры предпринять, а какие там предпримешь, ему с винтовкой там развернуться никак нельзя — я ее руками схватил, вбок повернул и прижал к стене окопа. А сам на этого немца сверху-то и прыгнул. Окоп-то узкий. Я спрыгнул, а автомат был у меня за спиной, он в окоп не попал, поперек него угодил,

уперся — я и застрял, и оказался в подвешенном состоянии. Барахтаюсь с этим немцем. Говорю ему шепотом: «Хэндэ хох!» А он не поймет, что ли, — во всяком случае как-то странно себя ведет: какой-то больно уж он большой, во весь окоп шевелится. Пригляделся — а их оказывается два! Немца-то. Там и так им вдвоем тесно, а тут еще я вскочил.

Наконец я автомат скинул с себя — он наверху остался. Свободнее стало. Одного из них я все-таки завалил — опять беда, не пойму, где у него что: где ноги, а где голова.

Ребята в конце концов услышали возню, заглядывают туда, в окоп. Я шепчу: «Забирайте их». А они упираются, из окопа не лезут. И вот тут я двинул ему под зад. А заду-то нету, одни мослы — во какие они были там «раскормленные»...

Так мы, не сделав ни одного выстрела, вернулись с двумя «языками».

И это еще не все злоключения. Во-первых, когда из окопа их выволокли, они идти не могут — у одного на ногах шубные варежки, а у другого только портянки. Это они в таком виде сидели в дозоре. Когда поняли, что их убивать никто не будет, бегом побежали в плен.

А, во-вторых, когда привели мы их на наш передний край, наши солдаты завтракать собирались. Я спросил пленных: кушать хотите? А какое там «кушать» — они собаку с шерстью сожрали бы. Солдаты дали им по булочке хлеба (у нас под Сталинградом пекли булки по восемьсот граммов на каждого солдата). Они их тут же съели. Моментально. Пока мы с устатку курили, ребята принесли по двухлитровому круглому котелку «шрапнели» с мясом и еще по булке. Они и это уплели.

Потом, когда привели их в штаб дивизии, командир разведроты прежде чем передать их на допрос, приказал накормить (он знал, какие они оттуда являются голодные). Еще принесли им по котелку «шрапнели» и по булке. Съели и это. И вот тут с ними стало плохо. Их надо допрашивать, а они заумирали.

Майор Безрученко спрашивает: «В чем дело?» А я говорю: «Обожрались. Я их на передовой накормил два раза, а ротный еще тут». Майор Безрученко говорит: «Нашел родню! Разугощался...»

Прикинули: больше, чем по полведра они съели! Конечно, разнесет — тем более с такой голодухи. В медсанбате выкачали все их них, промыли внутренности...

Все, что я рассказал, — это обычные, повседневные будни разведчиков. Но они мне дороги, эти мрачные, тяжелые будни, дороги, может быть, больше, чем успехи блестящие, но легкие.

И еще вот о чем я сейчас думаю, оглядываясь на свою юность. Почему люди тянулись в разведку? Там ведь в сто раз опаснее. Разведчик дня в покое не бывает. Наверное, что-то есть привлекательное у нас, в разведке. Я, например, не понял, что именно. Но знаю одно твердо: ребята там были настоящие, одним словом — разведчики!..

ЛАРИСА

1.

Ее-то, наверное, я так до конца и не понял. А мне очень хотелось понять ее, непременно хотелось хотя бы мельком глянуть на окружающий нас сегодняшний мир ее глазами, а еще больше хотелось увидеть войну глазами Ларисы (желание, я конечно понимаю, дерзновенное). А все потому, что уж больно она необычный человек, уж очень много разговоров среди наших однополчан о ее смелости. Но происходило странное явление — чем больше я узнавал о ней, тем сильнее растушевывались контуры ее характера, тем дальше она от меня отодвигалась.

Когда мне рассказывали о ней те, кто знал ее близко на фронте, с кем вместе она лазила за «языком», кто, как говорят, пуд соли съел с ней из одного солдатского котелка, то по их рассказам я представлял ее этакой бой-девкой. Такой — ухарски боевой, грубоватой — представлялась по этим рассказам. И все равно мне хотелось написать о такой лихой разведчице.

Я начал уже складывать в воображении образ своей будущей литературной героини. Складывался он хорошо и просто. И главное — понятно. Казалось, чего там не понять: храбрость — дело простое — не бояться ничего вот и все. И еще: меньше думать об опасности, меньше анализировать всякие опасные ситуации...

Такие мысли бродили у меня до тех пор, пока неожиданно у меня не оказалась ее маленькая (старого паспортного формата) фотокарточка — мне ее на время дала Нина Николаевна, секретарь совета ветеранов нашей дивизии. Она просила, чтобы ни в коем случае не узнала об этом Лариса — ох, говорит, и даст разгон!.. На

фото девятнадцатилетняя очень милостивая девушка: доверчивые мягкие глаза, улыбочивые губы, чуть великоватая пилотка на голове, три треугольника «старшего сержанта» в петлицах на воротнике, видна аккуратная белая полоска подворотничка — ничего грубоватого, ничего, что бы напоминало бой-девку...

Но ведь ничего нет в лице и из того, что бы говорило о невероятной смелости ее — обыкновенная девушка тех далеких военных лет, моя сверстница.

«А разве на лице Ивана Исаева лежит печать его необыкновенной храбрости?» — спрашивал я себя.

В совете ветеранов дивизии мне рассказывали, что на первой встрече однополчан Ларису узнал кто-то из бывших разведчиков, которого она спасла под Сталинградом раненого, привел ее к себе домой как самого дорогого гостя (встреча проходила на брянщине, где живет этот бывший разведчик). Привел ее и говорит своим сыновьям и дочери:

— Дети мои, вы должны встать на колени перед этой женщиной. Если бы не она — не было бы вас на свете. И меня бы, конечно...

И его взрослые сыновья, сами уже женатые, имеющие собственные семьи, опустились перед Ларисой на колени, целовали ей руки в благодарность за отца. Сцена, конечно, была потрясающая — все ревом наревелись: и семья, и Лариса, да и сам бывший разведчик!

Все это несомненно подогревало мое любопытство.

2.

И вот, наконец, встреча однополчан нашей дивизии во Владимире-Волынском. Встреча, конечно, волнующая сама по себе, а я волновался вдвойне — меня должны познакомить с Ларисой Зотиковной Первозчиковой.

Высокая, очень худая женщина, не поднимая глаз, сдержанно протянула мне руку, тихо сказала: «Лариса», повернулась и не очень любезно отошла. Я стоял в недоумении.

— Нина Николаевна, — наконец обратился я к секретарю нашего совета ветеранов, — вы сказали ей, что я хочу о ней написать?

— Да. Конечно.

Тогда я не понимаю ее поведения.

— Она сказала, что не хочет, чтобы о ней писали.

— Вот это — здорово живешь! Одиннадцать с половиной часов меня болтало в самолете только затем, чтобы получить такой ответ?

В первый же день она явно избегала меня. Стоило только мне приблизиться к группе однополчан, в которой находилась Лариса, она тут же отделялась от нее и уходила.

Я призвал на помощь Нину Николаевну. Не знаю, о чем они говорили, только вижу потом, вроде помягчел взгляд у Ларисы. Не стала она шарахаться от меня.

На третий день мы с ней уже ходили по базарчику, даже, по-моему, в магазины заходили, она уже начала шутить, улыбаться. Ну, думаю, слава богу, глядишь — дело-то у нас и наладится, глядишь, и разговорится знаменитая-то Лариса.

Устроители встречи повезли нас на место бывшего фашистского концлагеря в пригороде Владимира-Волынского. Я украдкой наблюдал за Ларисой. Она ходила в основном отдельно от всех, думая о своем, только иногда вскидывала глаза на экскурсовода — значит, слушала то, о чем он говорил. Потом мы были у пограничников. Пограничники показывали место, откуда началась Великая Отечественная война — пепелище от их бывшей заставы, принявшей первые удары германской армии 22-го июня 1941 года. Лариса молчала и ходила за всеми отдельно. Думала какую-то свою думу. Наверняка она вспоминала бои, проходившие на этой земле тридцать с лишним лет назад, в которых участвовала и она, освобождая эту землю. Конечно, для таких дум напарника, что называется, не надо. Лучше думать в одиночку.

Я посматривал на нее и втайне готовился к длительному разговору с ней, готовился записать на магнитофон ее воспоминания — сейчас-то она конечно уж разговорится! Я в этом был уверен.

Но вечером она отрезала:

— Не уговаривайте. Ничего я вам рассказывать не буду, ничего писать не надо... Я был в самом неловком положении.

Но там, где нет терпения и выдержки, там кончается разведчик — вспомнил старую нашу истину. А ну посмотрим, думаю, кто из нас первый не выдержит.

Я перестал заговаривать с ней о войне, о разведке, просто по утрам садился с ней за один столик в кафе и говорил о пустяках — подтрунивать над ней было опасно, она за словом в карман не полезет... После завтрака до самого ухода к коллективам предприятий города тоже не отлучался от

нее — старался приучить ее к собственной персоне. Она настороженно посматривала на меня, но уже столь явно не избегала моего общества — потом догадался: ей было жаль меня, поэтому и была снисходительна...

Однажды мы переходили с ней улицу и на нас из-за угла вывернул автобус. Лариса ойкнула, машинально схватила меня за руку и кинулась бегом (я обратил внимание: не одна кинулась, а потащила и меня — в этом машинальном жесте весь человек).

Я придержал ее, засмеялся:

— А еще говорят все, что ты смелая! А ты трусиха оказывается.

— А какая смелость — под автобус бестолку попасть! — ответила она.

Значит, фотоснимок правильно меня насторожил — не разухабистая бесшабашность руководила на войне этой женщиной, а что-то другое в ее характере было главным.

Особенно мне нравилось в ней во Владимире-Волынском, что она изо всех сил старалась не выделяться среди остальных женщин, наоборот, старалась держаться в тени.

3.

Я вижу ее в больничном халате с книгами — книг много на тумбочке, на подоконнике, на стульях (знаю, она очень любит читать), но на этот раз не читает их запоем, как всегда, когда лежит в больнице. На этот раз у нее на первом месте чистые школьные тетради. Она сидит над раскрытой тетрадью с авторучкой в руке и думает. Час сидит недвижно, второй, третий — вспоминает. Много вспоминается — и то, что надо, и главным образом то, чего не надо бы вспоминать. Но ведь все не напишешь в эту чистую гладкую тетрадь — не все ведь поймут те, кому она попадет в руки, а если что-то и поймут, то, само собой разумеется, обязательно не так, как надо бы... Вот и сидит думает — в основном сама для себя вспоминает. А в тетрадь записывает то, без чего нельзя ее послать.

Ну, как ты запишешь, например, давно уже забытые чувства восемнадцатилетней девушки, любимой папиной дочки, выросшей в холе и неге, но теперь решившей во что бы то ни стало попасть на фронт? Что она знала о фронте? Сейчас Лариса, конечно, не помнит это. Помнит одно: чуть ли не со слезами на глазах упрашивала «дяденьку» из военкомата взять ее на фронт. Смешно? А ходила она с подружкой на полном серье-

зе. И сердилась взаправду, когда их бесцеремонно выпроваживали за дверь.

Но на фронт хотелось во что бы то ни стало! Она бросила техникум землеустройства и мелиорации, в котором училась на втором курсе, и поступила на краткосрочные курсы медсестер. Теперь она была уверена, что справка с курсов — это козырь, против которого едва ли устоят черствые души в райвоенкомате. Но «черствые» души не признавали ничего кроме паспорта — а по паспорту ей не хватало лет. Лариса с подружкой (а подружке было еще меньше лет) пыталась поступить на курсы шоферов — хоть шофером, только бы на фронт! Но и из этого ничего не вышло.

Неожиданно помогла Ларисе ее школьная подружка, поступившая на работу в военкомат. Она-то и шепнула, что начинает формироваться какая-то войсковая часть и для нее будут набирать медиков. И посоветовала, к кому надо бы обратиться. «Так по знакомству я была добровольно призвана в Красную Армию 7 мая 1942 года», — записала Лариса в тетрадь для меня.

Потом они, десять вчерашних школьниц, «осчастливленные» дядями из военкомата, шагали в воинский лагерь под Костромой с первой в своей жизни «военной» бумажкой — предписанием. Было холодно. Шел дождь со снегом. Ветер. А девчата к переходам совсем не были подготовлены. Но все равно было весело — будто они отправлялись не на войну, а на танцы. Смеялись буквально над всем — и над холодом, и над тем, что Маша Лебедева шла в босоножках на высоких каблуках, и что каблук оторвался — все смешило. Юность — она беззаботна.

Но время от времени они останавливались, грудились в кучу и клялись. Клялись: ни при каких обстоятельствах, ни за что на свете, до самого конца войны... не дружить с ребятами! Не за тем, мол, идем в армию.

Потом их «приучал» к армейскому порядку их «враг № 1» сержант Шеховцев. По утрам он заходил к ним в комнату с часами в руках и командовал:

— Подъем!

И засекал время. Но к его удивлению никто никак не реагировал на его команду. Он еще властнее:

— Под-дье-ем!!

И опять никто не шевелился. Только изпод одеяла выглядывали озорные девичьи глаза. Лариса не выдерживала первой (недаром потом ей всегда говорили: «Чего ты суешься вперед всех?!»), она кричала этому сержанту:

— Ну, чего уставился? Выйди отсюда, мы оденемся!..

Это было уже не по Уставу. И сержант не знал, как поступать в такой ситуации...

В другой раз он повел их, десятерых, через весь город в баню строем. Это их оскорбило — мог бы и без строя. Назло ему мылись не «по-военному» — долго-долго. А потом он построил их и скомандовал:

— Запевай!

Они перемигнулись — не запели. Два часа гонял от бани до медсанбата сержант непокорных солдат в юбках.

Лариса в разведроту попала с помощью маленькой хитрости. Когда комплектовали боевые подразделения дивизии, приглашали на беседу в кабинет командира медсанбата девчат по одной. И наверно каждую спрашивали, согласна ли она пойти санинструктором к разведчикам. Конечно, каждая была согласна, и наверно каждую спрашивали и о выносливости, сможет ли она пройти пешком пятьдесят-шестьдесят километров? А кто до войны из них ходил по столько? Конечно, все отвечали, что ходить на такие расстояния не доводилось. А Лариса схитрила. Говорит:

— У нас в области есть город Судиславль — от Костромы шестьдесят два километра. Я шла от него пешком.

Комбат тут же достал карту, сверил.

— Правильно, — говорит, — есть такой город и приблизительно в шестидесяти километрах.

— Не примерно, а точно шестьдесят два.

И он поверил. Он, конечно, не знал, что на эту девушку дома дышать боялись, не то чтоб позволить ей пройти пешком такое расстояние! А этот путь прошел ее старший брат в тридцать седьмом году. Поэтому она и знает и город и точное расстояние до него.

Так Лариса Синякова, которую еще совсем недавно не принимали даже рядовой санитаркой в медсанбат, стала разведчицей — о чем больше можно было мечтать!

Жили разведчики в многоэтажном недостроенном доме. Отдельная комнатка была приготовлена для санинструктора. Уютная комнатка. На всю жизнь она запомнилась Ларисе потому, что потом до конца войны у нее никогда не было не только такой комнатки, а «приличного отдельного окопа» — как она поделилась со мной.

Вывели ее перед ротой. Глянула: а народу-то, мамочки! И все на одно лицо. Не отличишь. Как только командиры их не путают — какой из какого взвода! Командиров тоже можно сразу не различить. Их

шесть: командир роты, помкомроты, политрук роты и еще три командира взводов — все лейтенанты и старшие лейтенанты, а ротный даже капитан, «шпала» в петлицах. И все смотрят на нее. Наверное, за всю ее девичью жизнь не смотрело на нее столько парней, сколько сейчас смотрит одновременно. Вот такого всеобщего внимания она больше всего и боялась, собираясь на войну. С первой же ночи стала старательно закрываться в своей комнатке, чуть ли не баррикадировать дверь.

Не успела оглядеться, ознакомиться — поступил приказ грузиться в эшелоны и отправляться на фронт.

— Ты с каким взводом поедешь? — спросил ее командир роты.

— А мне они все одинаковы.

— Поедешь с третьим.

В красном, испокон веку почему-то называемом в народе «телячьем» вагоне в два яруса нары. «Где же я тут буду спать?» Это первое, о чем Лариса подумала, войдя в вагон.

Шумно, суетно на погрузочной площадке железнодорожной станции — народ все молодой, беззаботный. Только Ларису мучит забота. Она со страхом ждет ночи.

Вечером эшелон тронулся. Все начали размещаться по нарам. Одна она не размещается — сидит в дверях на полу, свесив ноги наружу, смотрит на убегающее назад Подмосковье. Прощается с детством. А детство было у нее хоть и не в роскоши, но по своему счастливым. Отец баловал ее как мог и чем мог. Три старших брата с самого ее младенчества воспринимали как должное все ее капризы.

По праздникам всей семьей ходили на центральную площадь Костромы смотреть на портрет отца. Сколько помнит себя Лариса, столько коктябрьским праздникам и к Первомайским портрет отца вместе с другими портретами стахановцев города вывешивался на центральной площади. Отец работал старшим кочегаром на ТЭЦ. И когда случалось, что приезжал в Кострому нарком легкой промышленности (в ведении этого наркомата была ТЭЦ), а приезжал он много раз, то наряду с другими цехами и фабриками всегда заходил в кочегарку, здоровался обязательно за руку с Зотиком Андреевичем Синяковым и не забывал спросить о здоровье, семье, детях. Отец гордился этим знакомством с наркомом... И вот теперь все это оставалось там, в ее детстве. Собственно, там оставались только отец с матерью, а все три брата были на фронте (из которых вернется потом только один).

На фронт теперь ехала и она, вернется ли? Вот уж об этом она не думала — конечно, вернется. Победит немцев и вернется.

— Ты почему не ложишься? — слышался голос старшего лейтенанта.

— Не хочу, — ответила она. И вздохнула, все-таки грустно расставаться с детством.

Стучат колеса. За дверями вагона темень — Москва и Подмосковье еще соблюдали светомаскировку. Когда она уезжала из Костромы, там тоже окна на ночь зашивали... Вот он, этот взводный, говорит, чтобы ложилась. А — где? Не лезть же в середку к парням? Вот ужас! Как же дальше-то жить?.. Дальше?.. Тик-тук — дальше... тик-тук — дальше...

— Ты не вывались там из вагона, — сквозь «тик-тук» донесся голос старшего лейтенанта. — А ну иди, ложись!

Поднялась — конечно, можно уснуть под стук колес и вывалиться из вагона — куда идти-то? Старший лейтенант постелил ей в углу (рядом с собой) ее же шинель, бросил под голову вещмешок.

— Ложись.

И прикрыл ее своей шинелью. Затаилась Лариса. Ждет, что дальше будет.

Вагон трясет на стыках. Вроде бы дремать начала. Чувствует, шинель сползает — от тряски или кто тянет? Кругом все глухо становится... и безразлично все. И вдруг мягко дотронулась рука старшего лейтенанта. Вздрогнула Лариса — сон, как ветром, сдуло. Дышать даже перестала — пусть только полезет... Но он поправил шинель, а сам опять отвернулся. И так в ночь-то несколько раз он заботливо поправлял шинель.

Утром посмотреть ему в глаза не могла — стыдно было за свои мысли.

Ехали до станции Иловля (под Сталинградом). Целыми днями пели песни, парни боролись. И конечно никто из них и не подозревал, что всего лишь несколько дней отделяет их от смерти. Всех! Всех, кроме Ларисы и Андрея Вороны. Никто из всей роты не думал об этом. А первым погибнет политрук. Пролетит над необъятной степью немецкий корректировщик «рама», сбросит две или три бомбы так, мимоходом. И первая из них упадет возле Ларисино окопа. А первый осколок угодит прямо в голову политруку... А последним из разведроты погибнет ее будущий командир роты (один из нынешних взводных) Кармышев. Ему суждено будет прошагать от Сталинграда до Берлина, десяток раз быть на тонком волоске от смерти и суждено ему погибнуть

уже после 9-го мая сорок пятого года — он успеет порадоваться нашей общей Победе, а пожить после нее ему не удастся...

Ах, если бы человек знал, что его ожидает на войне...

4.

Смерть политрука поразила Ларису больше всего на свете. Несколько минут назад он подходил к ее окопу, шутил с ней, поздравлял «с новосельем». А теперь лежит равнодушный и недоступный.

Вот она, оказывается, какая война! Всю ночь не сомкнула глаз — мертвый политрук был перед ней.

Начало светать. Не успело еще солнце выкатиться из-за горизонта, как над Котлубанью появились вражеские бомбардировщики. И посыпались на землю бомбы. Столько их было много, что, казалось, они падают буквально на каждый квадратный метр. И в конце концов с минуты на минуту какая-то из них непременно залетит и в Ларисин окоп.

Но когда она уже спиной, всей кожей начинала чувствовать, что вот-вот, в следующую секунду бомба упадет к ней в окоп, самолеты разворачивались и уходили обратно на запад, за новыми бомбами. И казалось ей, что всякий раз не хватает именно одной бомбы, очередной для ее окопа. И что в следующий-то прилет они непременно угодят в нее. Но или прилетали каждый раз новые летчики или те, старые, теряли ориентиры — и все начиналось сначала.

До ее окопа очередь так и не дошла в первый день.

Лариса лежит на дне окопа (даже во время перерыва) и дрожит. Появился какой-то разведчик — она фамилии-то их еще не знала, они пока еще все для нее были по-прежнему на одно лицо — сел на край окопа. Закурил. Болтает ногами. А она лежит и думает: какой храбрый парень!.. Сама трясется. Он говорит:

— Ты чего там трясешься? Это наша артиллерия стреляет.

— А я откуда знаю — наша или не наша.

— Вылезай сюда, я тебя учить буду.

Лариса вылезла, огляделась: кругом голая земля, вся изрыта — как будто весной вытаяли помойки на огромном пустыре, пар идет ото всего, и такой же беспорядок. Только среди этого огромного изрытого пустыря люди из земли выглядывают. А неба кругом много — не то, что из окопа видна

лишь полоска — небо чистое, ни единого облачка, и высокое. И солнце яркое по-летнему припекает (хотя и сентябрь кругом). Лучи впиваются в тело, как раскаленные иголки.

— Вот слышишь, это бьет наша арти... — бабахнул снаряд невдалеке, второй. — Нет, это не наша, это его артиллерия бьет. Давай ложись обратно в окоп... — и сам побежал, согнувшись, в свой.

Через некоторое время слышит Лариса, кто-то кричит — спрашивает, нет ли тут поблизости сестры. Кто-то из разведчиков ответил, что есть санинструктор. Кое-как сообразила, что это о ней речь-то идет.

— Пусть меня перевяжет.

Выскочила Лариса из окопа — вот он, ее долг! Перед ней стоял солдат, раненный в грудь. Не разведчик. Из полка солдат, причем из чужой дивизии. Трясущимися руками она разорвала индивидуальный пакет и начала перевязывать. А сама поглядывает по сторонам, как бы не начался обстрел — его же не бросишь.

— Ты что, на передовой недавно, руки-то трясутся?

— Первый ты у меня раненый.

— А-а... ну не волнуйся, сестрица, как перевяжешь, так и ладно. Не переживай, у тебя все впереди.

Когда перевязала, он пошел сам, без посторонней помощи, только опираясь на винтовку, первый ее раненый. Действительно, все у нее было впереди. Сколько она их перевязывала, сколько поперетаскала на своей спине, не только разведчиков и главным образом не столько разведчиков. Поэтому ее потом и знали во всех полках дивизии, поэтому помнят и сейчас старые ветераны.

А потом своя дивизия пошла в наступление — появились, что называется, свои, «кровные», «роденькие» раненые. Повалили без перерыва и не в одиночку. Перевязывала наравне с другими, даже порой больше других медсестер потому, что считала: война — дело общее. Даже в мыслях не было такого, чтобы спрятаться в окоп от раненых и пропустить их мимо не перевязанными. А ведь все время летят снаряды, рвутся тут же, рядом, самолеты пикируют с включенными сиренами — душу разрывают этим воем... День проходит, второй, третий. В свободную минуту стала думать: ведь все боятся смерти, все! А виду не показывают. А почему же она должна быть хуже других, почему ее страх видно?

«Я так боялась, — рассказывала Лариса мне во Владимире-Волынском, — что не

могла показать, что боюсь. Но, наверное, все это видели. Мне иной раз скажут: «Чего ты маешься? Иди, скажи, что ты боишься, и тебя переведут обратно в медсанбат».

А как же я пойду и скажу? Другие тоже боятся. Я не могла пойти.

Сейчас гляжу иногда на нашу молодежь и думаю: оттого, что мы начали свою жизнь с войны, мы немножко другие, у нас больше ответственности. Мы взрослее были...»

И вот настал тот вечер, когда по приказу командира разведроты пошла на высоту 134,4. Кто знал, что это последняя боевая вылазка роты, что никто уже не вернется?.. Видимо, командир роты знал. Поэтому, когда подошли к высоте, он сказал Ларисе:

— Сиди тут до рассвета.

Не взял ее с собой. Он, видимо, понимал, что раненых не будет. Будут только одни убитые. А убитым Лариса не поможет. Живых тоже не будет. Он и это, конечно, знал... Поэтому и поберег ее.

5.

Как ушла рота на высоту 134,4 под Котлубанью, так до конца войны она больше и не восстала в полном составе — никогда больше уже не было в ней столько людей, как в самом начале, хотя пополняли ее несчетное количество раз.

Первое пополнение пришло вскоре. Дивизия была в обороне, поэтому разведчики лазили каждую ночь на нейтральную полосу. Каждую ночь лазила и Лариса. Трястись от страха было уже некогда — группы менялись, а она ходила бессменно, с каждой группой. Не то что привыкла — к страху все-таки нельзя привыкнуть — просто, видимо, научилась хоть немножко владеть собой. И разведчики теперь уже не стали для нее все на одно лицо, как было в первом, основном составе разведроты. Стала отличать друг от друга. Появились симпатии и антипатии. Ей, например, стало интереснее ходить со взводом младшего лейтенанта Яблочкина. Как-то с ним было спокойно и уверенно.

Младший лейтенант Яблочкин — один из тех, кто формировал Ларису как разведчицу. Он был для нее авторитетом, она его всегда слушалась, может, потому, что он был значительно старше ее, был человеком обстоятельным. До войны он работал председателем колхоза, поэтому и сюда, в разведку, принес осмотрительность, серьезность. Правда, он любил поворчать, особенно на Ларису. Но ворчание его было не обидное, отцовское.

Он, например, первым заметил, как неудобно девчонке ползать в юбке по-пластунски, и посоветовал:

— Ты надень подниз шаровары от маскхалата — вроде будет и по-женски, в юбке, и в то же время удобно.

И Лариса потом до конца войны вспоминала его добрым словом — ох как облегчил он ее девичью судьбу там, под огнем, за передним краем (она и там, около немецких траншей, думала о том, как бы у нее не задралась юбка выше колена...). А зимой она стала приходиться почти после каждой вылазки к немцам без рукавиц. Перевязет одного-двух раненых — и забыла про рукавицы. Яблочкин достал где-то тесемку, привязал на нее рукавицы и повесил их Ларисе на шею, как это делают детям.

— Вот теперь они всегда будут при тебе...

Однажды группа, которую возглавлял младший лейтенант Яблочкин, пошла за «языком». Как обычно, пошла и Лариса, хотя только что утром вернулась с «нейтралки» в составе предыдущей группы.

Пришли на передний край, где перед этим несколько дней наблюдали за немцами разведчики младшего лейтенанта Яблочкина, покурили последний раз и поползли в сторону немецких траншей. Лариса — следом. Замыкающей, как всегда. Разведчики молча, уже привычно рассредоточились по группам — кто в захватывающую во главе с Васей Топольским, тот пополз вперед, левая и правая прикрывающие — по своим местам, вправо и влево.

Не успела Лариса выбрать себе местечко поукромнее — торопиться было некуда, обычно, пока группа захвата доберется со всеми предосторожностями до немецких траншей и пока начнет действовать, можно успеть даже окопаться. А тут вдруг раздался автоматный шквал, и мимо нее в полный рост пробежала обратно группа захвата с пленным немцем в руках — она узнала высокого плечистого Васю Топольского. Группы прикрытия открыли огонь и тоже начали отходить. Двинулась было с ними и Лариса. И вдруг услышала вскрик. Она метнулась обратно к немецким траншеям.

При свете ракет и отблесках трассирующих пуль увидела раненого. Это был разведчик Анфиногенов.

— Куда ранен?

— В грудь, — не то выдохнул он с хрипом, не то по одному лишь хрипу догадалась Лариса.

Пулевое ранение, как правило, не делает больших ран (если, конечно, пуля не раз-

рывная). В данном случае может быть внутреннее кровоизлияние, внутри грудной полости. Санинструктор предотвратить его, конечно, не может. Поэтому Лариса, не мешкая, взвалила Анфиногенова на плащ-палатку, связала палатку обмоткой и начала тащить. Она уже знала (к тому времени имела опыт), что даже раненый в обе ноги в состоянии хоть немножко помогать ей тащить себя. А раненый в грудь не может уже ничего делать.

Она отползала на два-три шага и подтаскивала за обмотку лежащего на плащ-палатке. Трудно это было — и упереться не во что, и силенок не хватает. Все-таки разведчики, как правило, парни здоровые.

И тут случилось такое, чего больше всего Лариса боялась — ее с раненым заметили немцы. Повесили «фонарь» (ракету на парашюте) и с двух флангов открыли огонь. На ее счастье она оказалась с Анфиногеновым, хоть и в мизерной, но в ложбинке — пули не брали их, но и пошевелиться не давали.

Ракета погасла. Смолкли пулеметы. И только хотела Лариса тащить раненого дальше, снова вспыхнула ракета, и снова очередь за очередью стали строчить пулеметы... Этак ведь можно пролежать и до утра — раненый изойдет кровью.

И вдруг Лариса слышит голос Васи Топольского — на чем свет стоит костерит солдат из батальона, на участке которого действовали разведчики:

— Вы что-о, не видите — девчонке не выползти?! А ну открывай огонь по немецким пулеметам, прикрывай ее!

А сам тут же, под прикрытием беспорядочной стрельбы, подбежал к Ларисе, схватил плащ-палатку за узел и — при его-то слыше — мгновенно продернул Анфиногенова в траншею.

По два, по три и больше раненых вытаскивала Лариса почти каждую ночь. Тяжелый труд, не говоря уже о том, что смертельно опасный. И так из ночи в ночь на протяжении всей войны. И не то чтобы не уставала, но как-то получалось так, что она всегда была готова идти на задание. А там, на задании, всегда норовит проявить какую-нибудь инициативу.

Как-то (это было еще под Сталинградом) пришла группа Яблочкина глубокой ночью на передний край. Перед началом операции, как обычно, сели покурить в траншее. А только что недалеко от этого места была стычка с немцами. Лариса сидит вместе со всеми, а самой почему-то не сидится. Говорит младшему лейтенанту:

— Пойду посмотрю, нет ли раненых.

— Сходи посмотри. Только недолго. Скоро пойдем.

И она поползла. Долго пришлось лазить среди убитых — не могла же она, коль уж доползла, не обшарить каждого. Поэтому и получилось все-таки долго вопреки наказу младшего лейтенанта. А стычка была около четырех подбитых танков. Лазила, лазила и обнаружила среди убитых одного еще живым (как потом выяснилось, солдата по фамилии Чугрей). Начала его перевязывать, а он уж и не реагирует. Пока переворачивала его, пока кружилась вокруг него сама и в конце концов закружилась в этих четырех танках. Потеряла ориентир. Но заметила это не сразу. Потатила раненого — волокля, волокля его прямо на его же шинели и вдруг услышала сзади себя совсем рядом (она же сама-то ползет задом — пятится) словно вот у ее ног немецкий шепот — оказывается, ползла она в сторону к немцам. Выбирать нечего и раздумывать некогда — одну за другой швырнула туда две гранаты и потатила Чугрея обратно, под танки.

У немцев начался такой переполох, что это и спасло Ларису с ее раненым. Немцы сообразили, что гранату за сто метров не бросишь — значит, русские где-то совсем рядом, всего лишь в нескольких метрах. Развесили «фонари», открыли огонь шквальный.

Пришлось Ларисе переждать под танком, а потом уж ложбинками вытаскивать раненого. Раненого спасла — хорошо. А операцию разведчикам своим сорвала — за это уж, как пить дать, ей попало.

Утром, когда пришли в расположение штаба дивизии, она не стала дожидаться и завтрака, упала и замертво уснула — так она умыкалась, вытаскивая под огнем раненого. Но сквозь сон успела услышать слова Яблочкина:

— Ларису не будите. Ей сегодня досталось...

А что дальше сказал — не расслышала: то ли досталась взбучка от командования, то ли досталось тяжело тащить раненого — в конце его фразы она уже спала.

А было и такое — коль речь зашла об ее инициативе. Взвод младшего лейтенанта Яблочкина получил задание на преследование отступающего противника. Немцы, которых надо было преследовать, сели на машины и поехали до новых своих рубежей, а рота топала следом за противником пешком. И вот подошли к какой-то возвышенности — к небольшой горке, из-за которой

ничего не видать впереди. Кто-то возьми и скажи:

— На дерево бы залезть да посмотреть...

— Сейчас залезу, посмотрю, — напросилась Лариса.

Глазом не успели моргнуть — она была уже на дереве. Спустилась, доложила: горизонт чист.

И тут младший лейтенант Яблочкин произнес воспитательный монолог на тему: «Что ты высовываешься, куда тебя не просят — подстрелят, как птичку...»

Помог «монолог»? Нет.

В другой раз также во время преследования отступающего противника подошли к какой-то деревушке. Темнотища — хоть глаз коли. И неизвестно, ушли немцы из этой деревни или просто притаились и ждут. Командир роты капитан Кармышев стоит и этак про себя вслух рассуждает:

— Надо бы сходить в село, посмотреть...

Никто не шелохнулся — ждут приказа. А Лариса не ждет. Опять:

— Разрешите, я схожу.

— Ну иди, только поосторожней.

И ведь пошла. В темень. Одна. Лишь с двумя гранатами да пистолетом на поясе (гранаты эти она носила еще со Сталинграда — тогда, еще поначалу, как устрашение для особо нахальных поклонников, а потом — просто по привычке не расставалась с ними никогда). Прошла по середине улицы всю деревню от начала до конца и вернулась обратно...

Был и такой случай. Однажды (это было еще под Сталинградом) рота ушла на задание, а командир роты капитан Кармышев оставил около себя на переднем крае своего связного Андрея Ворону, двух разведчиков и Ларису.

Рота ушла и — пропала. В смысле — не погибла, а долго нет. Нет и нет.

— Кому-то надо сходить поискать, — говорит ротный.

И никого конкретно не посылает. Немного погода — опять:

— Сходить кому-то бы надо, поискать...

Лариса и вызвалась — сказала с поддевкой под ребро:

— Давайте я схожу, раз некому...

— Ну иди.

И ушла. За передний край ушла одна. По направлению к немцам. Искала, искала — а как искала? — поползала, поползала по «нейтралке», кричать не будешь — немцы же рядом. А разведчиков нет — наверное, где-то в другом месте были. Повернула обратно. И когда уже отползла от немецких траншей довольно далеко, когда

уже встала в полный рост, шла и шелкала заваливавшиеся уже который день семечки, которые наскребывала в глубоком, как деревенский колодец, шинельном кармане, вдруг:

- Стой! Кто идет?
- А тебе какое дело?
- Давай поднимай руки вверх!
- Фиг тебе, а не руки вверх, — полезла «в бутылку» Лариса.
- Не поднимешь руки — застрелю.
- Больно бдительный...
- Застрелю!
- Не застрелишь...

Чем бы это кончилось — кто знает. Часовой-то был прав — ведь шла-то она все-таки с немецкой стороны, к тому же ночью — мог и застрелить. Но их препирательства услышал командир разведроты.

— В чем дело? — кричит он из окопа.

— Меня, товарищ капитан, задержали. Тут вот один вояка девки испугался...

Это все — в промежутках между основной работой. А основная работа — таскать раненых с нейтральной полосы. Каждый день. И не по одному и даже не по два. И все это под пулями. Но не это главное — война без пуль не бывает — главное, что тяжело это было.

Вот как она сама рассказывает о своем повседневном труде:

«Я таскала раненых всяко: на плащ-палатке, на шинели. Это — волоком. На спине таскала — на собственной спине. Больше всего таскала с нейтральной, потому как в основном-то там ранило наших-то, разведчиков... У нас был такой приказ: мертвых забирают сами разведчики. Не оставляли их. Раненых вытаскиваю я. Управлялась. Помогали мне.

Был у нас сержант или старший сержант Иванов (он прибыл к нам в пополнении, мы его мало знали). Как-то мы с ним не дружили — он был какой-то заносчивый. Так вот пошли мы на задание. Вдруг слышу, Иванов зовет меня. Я поползла. Подползаю. Он у окопа лежит. Спрашиваю: куда ранен? Показывает — в обе ноги. Кое-как перетянула поверх брюк жгутом, говорю: «Наваливайся на меня, на спину. Потащи». Он не хочет, стесняется, что ли. Я на него закричала, правда, шепотом, но сердито. Все равно не хочет. Тогда я ему говорю: «Брошу...» Надо же как-то выбираться оттуда. А наши там, впереди, действуют — скоро начнется стрельба, тогда совсем плохо будет. Хоть и ночь, а «фонари» поразвешают, как днем будет видно... В общем взвалила его на спину — а в нем килограм-

мов девяносто! Попробуй потащи его. «Как, говорит, потащишь меня?» А у него обе ноги перебиты — какой он мне помощник! Говорю: «Ты знаешь, я буду ползти, а ты считай. Пять раз насчитаешь — отдыхать будем». — «Хорошо, говорит, буду считать». А тут есть одна особенность: раненые при потере крови медленно на все реагируют. И также считает он медленно.

До наших траншей дотащила, а там уж у меня его подхватили. Перевязку-то в основном в полковой санчасти делали. Я, как правило, почти не перевязывала — на нейтралке-то зачастую просто невозможно, тем более зимой. Но бывают обстоятельства, что нельзя не перевязать — помрет, пока дотащишь, от потери крови помрет — тогда уж в любое время года, при любых условиях перевязывала...»

А командир роты почему-то все это считал делом обычным. Лариса, правда, тоже считала это обычным своим делом — для этого и просилась на фронт. Но после одного из случаев ротный вдруг сразу по-другому посмотрел на работу санинструктора.

На завершающем этапе Сталинградской битвы, когда все полки дивизии были сведены в один 971-й, разведрота тоже была придана нашему полку и подчинялась непосредственно майору Мещерякову. Преследование противника продолжалось несколько дней без перерыва. И вот где-то за валом Анны Иоановны Мещеряков разрешил дивизионной разведке отдохнуть ночь — выспаться и обсушиться до утра. Лариса чувствовала себя очень плохо — который день в мокрой обуви и одежде на сильном ветру! Смерила температуру — тридцать девять! Сказала командиру роты об этом. Попросила: — Вы завтра оставьте меня здесь, я отлежусь, а потом догоню вас.

У нее уже был опыт отлеживаться. От двух контузий отлежалась в окопе. После первой, еще осенью сорок второго под Котлубанью также вот ротный сказал: «Куда ты пойдешь одна, до медсанбата не дойдешь — немец по одиночным целям бомбы сбрасывает». Несколько дней ее рвало и вообще крутилась по окопу со страшной головной болью и судорогами во всем теле. Но отлежалась — молодой организм победил. Теперь тоже вот он же, ротный, не отпускает от роты.

— Как ты тут одна останешься? Какой-нибудь заблудящий фриц зайдет и прирежет тебя ножом. Нет уж, ты давай потихоньку за нами завтра иди.

И она пошла. Не пошла, а побрела, еле волоча ноги — сил совсем не было. Конеч-

но, командиру роты, пожалуй, следовало бы дать хотя бы одного разведчика для охраны ее в блиндаже или для сопровождения в медсанбат. Но ни он, ни Лариса об этом ни тогда (ни даже тридцать с лишним лет спустя) не подумали — видимо, Лариса до сих пор считает это недозволенной роскошью потому, что во всей роте в те дни вместе с Ларисой, с поваром, писарем и старшиной насчитывалось лишь семнадцать человек!.. И она побрела следом за своей родной ротой — помирать, так уж вместе со всеми...

И вдруг позади нее разорвалась мина — ну, разорвалась и разорвалась, мало ли мин рвется на передовой линии. Немного погодя вторая мина разорвалась уже впереди. Хоть и больная, хоть и еле ноги передвигала, а обратила внимание — стреляют персонально по ней, берут ее в «вилку». Значит, следующая мина — ее. Раздумывать некогда — из последних сил бросилась догонять ребят. И вовремя — третья мина упала точно на то место, где она только что стояла.

А рота вела бой с арьергардом отступающих немцев. Лариса ползком привычно подобралась к разведчикам.

— Ты все-таки пришла? — спросил командир роты. — Ну и хорошо, что пришла.

— Что хорошего? Там, сзади, видите как мины швыряет.

Наступление разведчиков сорвалось. Немцы, хотя у них группа тоже была маленькая, стояли твердо — по всей видимости они были пьяными, да и отступить, наверное, уже некуда было. Поэтому огонь они вели неимоверной плотности. Разведчики стали отходить в укрытие. Отходили перебежками в одиночку. Немцы стреляли не очень метко — жертв не было. Командир роты отходил предпоследним, а за ним, замешкавшись, бежала Лариса — бежала изо всех своих оставшихся еще сил. И вдруг ротный упал — упал как-то неловко, не как падают при перебежке. Лариса — к нему.

— Куда ранены?

У него оказалось касательное, но довольно глубокое пулевое ранение в грудь.

Сзади — никого. Кроме немцев. Причем, был день, все видно, как на ладони. В таких условиях Лариса не привыкла таскать раненых. И все-таки тащить надо. Попробовала тянуть за фуфайку — не дается, кричит, что больно, охает. А в метре-полтора от ее ног фонтанчики снежные от автоматной очереди. Стоит тому наверхню пьяному немцу чуть-чуть приподнять ствол автомата и — все.

Тут уж она не вытерпела, закричала ребятам, что командир роты ранен. Подбежал Андрей Ворона и еще кто-то, выхватили капитана из-под обстрела, стащили в балочку.

Вскоре подошел 971-й полк. Командира роты погрузили на сани, с ним села Лариса и повезла его в медсанбат — приказал начальник разведки дивизии майор Безрученко сопровождать ротного.

И вот после того, как командир роты на себе убедился, насколько тяжела работа санинструктора, он, вернувшись после лечения, приказал «быть при Ларисе» одному из разведчиков-новичков Мише Рыжову. Ему вменялось в обязанность во время вылазки быть неотлучно около Ларисы и помогать ей выносить раненых.

Миша Рыжов был маленького роста, но увертливый, ловкий и главное удачливый. Ему же при назначении на эту «должность» ротный поручил ходить на кухню (Лариса изо всей роты одна жила в селе на квартире все время, пока дивизия формировалась под Тулой) за обедом для Ларисы — дескать, не пристало ей через все село носить котелки. Эту, последнюю, обязанность Лариса сняла со своего «ординарца».

Но привилегиями Лариса пользовалась недолго — пока дивизия была на формировании. А вышла дивизия на фронт, все пошло по-старому. Даже больше.

На Брянщине получила рота приказ: перейти линию фронта, углубиться, не обнаруживая себя, до двадцати пяти километров на занятую немцами территорию к хутору Московскому, в котором размещался штаб немецкой части, разгромить этот штаб и захватить документы. Капитан Кармышев выстроил роту, объяснил задачу и потом спросил:

— Кто трусит? Выйди два шага вперед.

Конечно, никто не вышел. Лариса только подала голос (она не боялась, что ее обвинят в трусости):

— Мне можно остаться? Я плохо себя чувствую.

— У тебя что, температура?

— Нет, температуры нету.

— Тогда в чем же дело? Сталинград прошла — не боялась, а тут испугалась.

Не могла же она перед всей ротой (да и ему даже одному) сказать, что бывает у женщины время, когда она болеет без температуры... Обиделась она на ротного, но ничего не возразила, молча пошла вместе со всеми.

И случилось для нее самое худшее, что можно было предполагать — рота задачу не выполнила, была случайно обнаружена;

обстреляна из минометов и вынуждена залезть в болото и отсиживаться там — Лариса просидела двое суток (вместе с другими) в вонючем болоте. И вот теперь третье десятилетие ежегодно по нескольку недель лежит в больницах — лечит последствия и этого сиденья в гнилом болоте, и мало ли каких других последствий войны. Но об этом — о том, где она оставила свое здоровье и что принесла после войны домой — потом, чуть позже. А этот раздел главы о Ларисе Синяковой-Перевозчиковой мне хочется закончить словами ее боевого друга Андрея Воронь:

«Мы уважали Ларису и любили ее не только потому, что она в случае ранения обязательно вытащит тебя из-под огня на свою землю, не только потому, что она в храбрости не уступала самым смелым нашим разведчикам, но еще и потому мы ее любили, что она была нашей сестрой, «кровной» нашей сестрой — она добровольно дала раненым разведчикам шесть с половиной литров крови!

Она была нашей совестью.»

6.

По ночам Лариса тихо плачет в больничную подушку. Просит у дежурной сестры снотворного. Но снотворное не помогает. Днем она ходит по палате, по коридору и мысленно ругает меня (об этом она откровенно пишет мне в письмах), ругает за то, что вынуждена ворошить старое, почти забытое. А нервы этого не выдерживают.

Она уже написала мне (если считать в порядке хронологическом) от Сталинградской битвы до Курской дуги и освобождения Белоруссии, а если считать в порядке становления души, формирования ее как разведчицы, то фактически не написала ничего.

Да разве все напишешь! Она в каждом письме так восклицает.

И в то же время ей очень не хочется, чтобы были какие-нибудь пробелы в ее повествовании. Вот, например, как объяснить: почему она перестала бояться бомбежек и всяческой стрельбы и стала ползать по нейтральной полосе со спокойной стучащим сердцем? Лариса сама себе не могла объяснить, мне — тем более, разбирайся, мол, сам.

Вот о ком она не может умолчать, так это о друзьях. Друзей у Ларисы много. На фронте друзья были не только в разведроты, но и в штабе дивизии и главным образом в полках. Вот они-то, пожалуй, и сде-

лали ее Ларисой-разведчицей, известной всей дивизии. Без них, конечно, она была бы никто.

И, пожалуй, первой, кто стал для Ларисы до конца войны примером самоотверженного выполнения медицинского долга, была военфельдшер отдельного противотанкового дивизиона, приданного нашей дивизии, Катя Зеленцова. Она перевязывала раненых (всех полков и всех дивизий без разбора) и днем и ночью — раненые шли беспрерывно.

И когда появилась Лариса, она попросила ее:

— Поперевязывай, пожалуйста, а я полежу — сил уж больше нет. — И залезла в окопчик, прилегла.

Потом только Лариса узнала, что Катя беременна.

— А он где? — взъершилась было Лариса. — В смысле отец ребенка...

— Здесь. Здесь он...

— Так что же он...

— Вон его могилка на бугорке... Я хожу к нему. Как только свободная минутка...

Лариса обняла ее, заплакала.

— Дура ты, дура — что ты делаешь?.. Иди и скажи своему начальству обо всем. И уезжай в тыл.

— Да я уж тоже думаю. А опять-таки — кого же я тут оставляю — видишь, сколько раненых? Вот бои закончатся, тогда уж...

— Да бои до самого Берлина не закончатся...

Но до берлинских боев она не дожила. Повезла утром раненых из балки Котлубань в медсанбат — налетел «Мессершмитт» и расстрелял машину из крупнокалиберного пулемета. И ее — наповал. Не ойкнула...

Подружек у Ларисы было мало и те далеко, в медсанбате. А тут, в роте, Лариса была одна. Так всю войну одна среди парней. Как сказала одна моя знакомая о ней:

— Она была незащищенная и в то же время неприступная...

Но она не была незащищенной. Ее защищали сами разведчики. И первым среди них был старшина разведроты Сербаяв. Лариса сейчас затрудняется сказать, что было бы с ней, куда повернула бы ее жизнь фронтовая с самого начала, если бы не этот человек. Своими умными азиатскими глазами он замечал все. Он сразу понял, чего больше всего по своей девичьей наивности боится Лариса. И стал ее негласным и неприметным (даже для нее) стражем до тех пор, пока она не поверит в свои собственные силы. Догадалась об этом она уже го-

раздо позже, когда, как она пишет, «сама стала взрослым человеком».

Устроили для штабных подразделений баню. Лариса стала собираться мыться.

— Ты куда? — спросил старшина.

— Мыться.

— Ну и я с тобой.

— Мыться, что ль?

— Не-ет. Я уже помылся. В ту же сторону...

Пока Лариса мылась — а мылись тогда из касок, как из пригоршни — он сидел на пороге землянки-бани и курил.

В другой раз — вызвали Ларису в политотдел на беседу (она вступала в партию). Время было к вечеру.

— Ты куда?.. А-а. Ну и я с тобой. Мне тоже туда надо.

И опять сидел, курил, дожидаясь Ларису, пока она освободится.

Однажды Лариса по своей девичьей беззаботности положила валенки близко к топящейся печке-буржуйке и уснула (а спать она тогда могла сутки не просыпаясь! Куда сейчас эта способность делась — мается бессонницей). А когда проснулась — в землянке дышать нечем от дыма. У валенок прогорели пятки — дыры величиной с кулак. За это старшина, конечно, похвалить не мог. Как говорят, любимое дитя не только ласкают, но и наказывают. Покачал головой, сказал:

— Валенки больше не дам. Ходи босиком.

На теперешнюю бы Ларису эти «страсти» — ответила бы:

— Не дашь — не надо. Буду в землянке лежать. Напугал чем.

А тогда полдня белугой ревела. «Сжалился», принес новые. Только ласково сказал:

— Дурочка...

А когда командование предоставило ей за боевые заслуги отпуск домой, она кинулась ехать в чем была и с чем была.

— Погоди, нехорошо ехать домой как попало.

— А чего надо-то? Домой ведь!

— Нехорошо. Защитница Сталинграда и — как попало. Во-первых, обмундировку надо всю новую получить — чтоб видно было, что не халам-балам, а из Сталинграда. А во-вторых, гостинец надо.

— Какой еще гостинец?..

Считала: она приедет — это и будет самый большой гостинец дома. Но старшина сделал как надо — проводил ее с полным вещмешком продуктов, в новом отглаженном обмундировании. А вернулась она из

дома опять со слезами — финку забрали в Москве в комендатуре, говорят, с оружием нельзя... Ничего не сказал старшина, только, сдерживая улыбку, спросил:

— Как там у вас — дрова градом не побило?..

Расплылись напухшие от слез губы. Это такая окающая присказка у них на родине: «У нас в КОстроМе на тОй стОрОне дрОва граДОм побилО...» Засмеялась.

— Дровами не топят — нету их. Углем топят.

— И то хорошо. — Помолчал, наверное, позавидовал Ларисе, что съездила домой. — А у нас в Сибири, должно, дровами топят, у нас дров много. Самая большая в мире тайга наша. За две войны не вырубешь.

Иногда командир роты (когда бывал в подпитии) любил строжиться над «тыловиками» — над поваром, писарем и старшиной. Указывал пальцем на Ларису и говорил:

— Вон девчонка наравне с нами ходит на задания. А вы отсиживаетесь в тылу...

Ларисе всегда было обидно в такие минуты за старшину Сербяева. Она-то, ответственная за санитарное и гигиеническое состояние роты, за качество приготовления пищи, лучше, чем кто-либо, знала, сколько много сделал этот человек, чтобы рота была боеспособной в любую минуту. Поставь на его место любого из роты, столько бы не сделал. Поэтому старшина всякий раз на упрек ротного говорил с достоинством человека, знающего себе цену, спокойным, ровным голосом:

— Если надо будет, то пойду не хуже любого. А кто будет роту снабжать?

И когда понадобилось (а случилось это уже в Германии), он пошел. И погиб в рукопашном бою...

Не доходя Германии, где-то на польской земле, погиб младший лейтенант Яблочкин, опекун Ларисы и ее добрый ворчун. В Мелекесском районе Ульяновской области, где он работал председателем колхоза, у него осталась семья. Может, кто-то жив.

Среди фронтовых друзей Ларисы, пожалуй, самым близким был Коля Васильев, военфельдшер саперного батальона. Наверное, у них очень подходили друг к другу характеры, поэтому они понимали все с полуслова. В землянке у Коли Васильева частенько собирались любители литературы, много спорили о книгах, читали стихи.

И когда у Ларисы выдавался «выходной», когда не было задания и не надо было идти на передовую, она отпрашивалась у ротного.

— Отпустите, в гости схожу.

— Куда хоть в гости-то?

— К Коле.

— Во непутевая, — качал головой ротный. — Хоть бы просилась к девочкам в медсанбат, а она идет «в гости» на передовую. Ну и ну...

И она шла привычными стезжками в сторону беспрестанно татакающих пулеметов, просиживала у Коли до утра и уносила обратно от него и его друзей ворох мыслей и ощущений...

Встретились они после войны через двадцать семь лет. Коля Васильев был уже очень больным. Его жена говорила, что все эти годы он постоянно вспоминал и рассказывал о Ларисе Синяковой, лихой разведчице. Сам Николай Васильев к тому времени мало что помнил и общих воспоминаний у них с Ларисой не получилось.

Умирал Николай Васильев мучительно и долго.

Была у Ларисы такая детская забава на фронте — никак иначе ее не назовешь. Она собирала трофейные носовые платки. Чистые носовые платки, непо использованные.

Над этой ее слабостью постоянно подтрунивал младший лейтенант из 967-го полка Девятилов. Это был очень храбрый человек. Он дослужился в этом полку до майора и потом командовал этим же полком.

Вот как Лариса описывает их встречу на праздновании тридцатилетия Сталинградской битвы.

«Он опоздал на сутки. Идем мы с Ниной Николаевной из столовой, он стоит. Я говорю Нине:

— Вон стоит Девятилов.

Она его не знала. Говорит:

— Покажи который.

Я показала и отошла в сторонку. Нина подошла к нему, представилась и спрашивает:

— Вы знаете эту женщину?

Он посмотрел в мою сторону.

— Нет, — говорит.

— Посмотрите внимательнее.

— Нет, не знаю.

— Ну, посмотрите, может, вы ее знали молодой?

Он еще раз уже пристальнее посмотрел.

— Нет, не помню. И молодой я ее не знал.

Его зовут Ефим Ефимович, а мы его звали — теперь уж не помню почему — Федей. Я подхожу к нему и спрашиваю:

— Федя, а ты не привез мне на память носовой платочек?

И не рада, что сказала. Такая у него

была реакция! Он как закричит не своим голосом: «Лари-иса!» Ему чуть дурно не сделалось. Он обхватил меня и только мог повторять: «Лариса... Лариса...» Причем таким голосом, что стоявшие вокруг нас люди не могли сдержать слез. Не говоря уже о нас с ним.

А потом мы просидели всю ночь, до пяти часов утра — вот уж мы с ним повспоминали!..»

Я спросил как-то Ларису: кто тот разведчик, который заставил своих сыновей стать перед ней на колени.

— А-а, — засмеялась Лариса. — Это Филька Троян, сдурил на старости лет, поставил меня в такое неловкое положение... Ну и наревелись мы тогда... Его жена Татьяна служила в медсанбате. Я его тогда перевязала и вынесла с «нейтралки», а она его выходила там и замуж вышла за него. Сейчас они живут в пригороде Брянска. Филипп работает на железной дороге, а Татьяна по-прежнему санитаркой в больнице.

Был в дивизии один человек, который завидовал всем Ларисиним друзьям потому, что те виделись и общались с ней каждый день, у него же такого счастья не было, а он хотел бы его иметь, ибо он боготворил эту девушку. Человек этот — дивизионный бог войны, начальник артиллерии соединения. Одно его слово и сотни стволов поворачивались в ту сторону, куда он показывал, один кивок его головы и все они изрыгали смерть. Это — там, на боевых позициях. Но когда приходила к нему Лариса (приходила она всегда только с подругой), он начинал краснеть, бледнеть.

— Николай Васильевич, а мы к вам в гости, — говорила Лариса.

И полковник, казавшийся ей тогда старым (ему было тридцать восемь-тридцать девять лет — почти старик!..) начинал разжигать печурку, грел чайник, выставлял на стол все свои запасы сладостей, которые прикапывал специально для ее прихода. Потом за время всего чаепития этот благороднейший человек не поднимал глаз на нее — боялся намекнуть о своей любви.

А она любила шофера из административно-хозяйственной части штаба дивизии. И до сих пор хранит его письма...

Полковник сейчас в отставке, на пенсии — вот теперь ему действительно много лет (это и мне даже кажется). И все-таки когда они встретились, то у этого человека чистейшей души снова загорелись глаза — он так обрадовался. Он из тех, кого ужасы войны не высушили, не очерствили, не надломили духовно.

Если сейчас повстречаешься с ней на улице, в магазине, где-то в очереди, на нее не обратишь особого внимания. Это — обыкновенная уставшая женщина, обремененная заботами. Разве что заметишь — она не из тех профессионалок по очередям, которые тараторят без умолку по любому поводу. Она из других — она из женщин, которые в очереди стоят молча и думают свою думу, и смотрят на окружающий мир глазами человека, умудренного жизнью, причем нелегкой жизнью. Часто можно встретить в очередях таких женщин. Это — или врач, думающая (пока стоит в очереди) о тяжелом больном, которого оставила она в палате и для которого даже здесь мысленно перебирает все известные ей средства лечения; или это судья, а может, следователь, в сотый раз перебирает все «за» и все «против», стараясь быть как можно объективнее в определении человеческой судьбы. А может, это Лариса или такая же фронтовичка, как Лариса, перед которой столько этих человеческих судеб закончили свой путь на земле!

Как-то она мне сказала:

— Если человек шел рядом с тобой и упал молча — значит, пуля попала в голову, если же человек успел сказать только «ой» — значит, пуля попала в сердце...

Это сколько же раз надо промахнуться в Ларису и попасть в рядом идущего знакомого, близкого, может, самого близкого, чтобы она могла сделать такое заключение — куда попала пуля! Боже мой, сколько людей погибло рядом с ней!

После всего этого разве удивительным будет, что она, видевшая все это и прошедшая через все это, не может сейчас спать без снотворного, что она четвертую часть своей жизни сейчас проводит на больничной койке!

Прийти смелым на фронт, уже подготовленным к войне, как пришел Иван Исаев — хорошо. Но стать смелой, стать очень смелой на фронте — это не каждому удавалось. Поэтому Лариса не просто смелая. Она мужественная женщина.

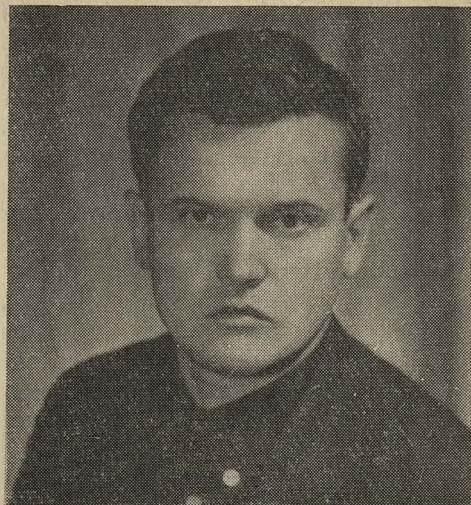
Я видел, с каким удивлением и благоговением смотрели на нее девочки-школьницы в музее города Торчина — она ведь для них ровесница Зои Космодемьянской, прошедшая к ним с книжных страниц истории.

Вот такова Лариса — полулегендарная, упрямая и сговорчивая, с мягкими заботливыми руками и колючая со всех сторон, раз-

ведчица из нашей 273-й стрелковой Бежицкой краснознаменной ордена Богдана Хмельницкого дивизии... Такой я ее вижу после недельного с ней общения, такой я ее представляю теперь по рассказам ее боевых соратников и по ее воспоминаниям о себе и о своих фронтовых друзьях (она все-таки написала и прислала мне свои воспоминания — полторы сотни рукописных страниц! А если точно — сто сорок две! Не считая фотографий и документов).

В этой главе, конечно, не вся Лариса. Только фронтовая. Лариса Синякова. А есть еще Лариса Перевозчикова, послевоенная. Они кровно связаны, эти две Ларисы — и в послевоенное тридцатилетие она не покидала переднего края общественной жизни. Жизни, за которую воевала на фронте. Она работала и на Костромской ТЭЦ, которой всю свою жизнь отдал ее отец, работала на хозяйственной работе, профсоюзной и партийной. Работает и сейчас — теперь уж в сфере бытового обслуживания. И пожалуй, трудно теперь сказать, где больше она проявила мужества, стойкости и решительности — на фронте или после, будучи уже инвалидом.

Поэтому мы и преклоняемся перед ней, перед этой мужественной и гордой женщиной.



Мерзликин Леонид Семенович родился в 1935 году в селе Белоярском Алтайского края. Окончил семилетку, культпросветшколу. Работал заведующим клубом, газетчиком. Стихи начал писать со школьной скамьи. Во время службы в рядах Советской Армии печатался в воинских газетах и журналах. В 1954 году окончил Литературный институт имени А. М. Горького. Первая поэтическая книжка вышла в Москве. Автор стихотворных сборников «Россия», «Тайся», «Лада», «Ивушка», «Проталинка» и других.
Член Союза писателей СССР.

Леонид МЕРЗЛИКИН

ДЕЛО ПЯТОЕ

ПОЭМА

1.

Сбоку глянет —
Черна, как жук,
Меня поманет
Мизинцем: «Ну-к, —

Голос ватой, —
Ну-к, позови
Из двадцать пятой
Объект любви».

Я наверх
И кричу: «Объект!
К тебе тут в юбке
Пришел субъект!»

Объект вниз,
И я вниз.
Они воркуют,
А я скис.

Похож на курицу,
Весь обмяк,
Шаг на улицу,
Еще шаг.

Иду и слышу.
Я ж не оглох.
Хоть бы потише!
Ох!..

2.

Нынче я один в квартире.
Тра-ля-ля!
Мама папу — шаг пошире! —
Увела, как на буксире.
Всех счастливей в этом мире
Я!

Съел вчерашние котлеты,
Вафлю сгрыз,
Сделал кивер, эполеты
И с хлопучкой из газеты
За котом гоняюсь: «Где ты,
Кис-с!»

Сгреб kota за хвост лохматый:
«Помни, кот,
В этот год семидесятый,
В месяц пятый, в день двадцатый
Я влюбился. Слышь, усатый!
Вот».

3.

Луна за окошком бледным-бледна.
В форточку воздух струями.
А на экране сперва война,
Потом любовь с поцелуями.

Жду с нетерпением те места,
Где очень крупно: уста в уста.

Однако у матери свой резон,
Следит за мной настороженно,
Чуть чего — отсылает вон,
«Глядеть, — говорит, — не положено».

И я удаляюсь. Экран — не то.
Пускай целуются. Мне-то что!

4.

Елки-палки!
Я в читалке —

Надо же так!
Сижу, как дурак.

Журналы листаю,
А сам не читаю.

А ты наискось.
Туфельки врозь.

Туфельки-крохи —
Шик эпохи!

А я сижу
И на них гляжу.

Сердце, тише!
Гляжу повыше.

Отвел глаза.
В голове — буза.

Любовь — буза!
Все — буза!

Но у тебя
Такие глаза!

5.

Место твое лустует...
Рядом склонился старец.
Хрящ ушной оттопырил,
Сдвинул очки на лоб.
Тихо ползет по строчкам
Его крючковатый палец,
Мелко трясутся губы,
Будто хватил озноб.

А за его спиною
Шепчутся две студентки,
Старец к ним обернулся:
— Хватит, сороки, ша! —

С улицы влезло солнце,
Лапы до самой стенки,
И калачом свернулось,
Рыжий хвост распуша.

И вдруг по этому солнцу
Ступают чьи-то штиблеты.
Да это же твой объектик!
Из двадцать пятой. Фу, черт!
Сел на твое он место,
Плюхнул на стол газеты,
В щепотку вяло зевает,
Листает «Советский спорт».

6.

Снова встреча!
Ты! Как!
Хрупкие плечи,
Сумка — лах.

Ты в автобус,
И я туда ж.
Сбоку пристроюсь
Как багаж.

Спину сутую,
Кепка к виску,
Сам караулю,
Сам начеку.

Ты на выход,
Я за тобой.
Небо навывкат,
Асфальт сырой.

Скоро белая
Зима, зима...
Что ж я делаю!
Схожу с ума.

Иду за юбочкой,
Иду при всех,
Кто-то сторонкой
Прячет смех.

Ветки-крючки
Скребут по мне,
Чьи-то зрачки
На моей спине.

Ой, не вяжется!
Поставлю крест.
Но стоп! Кажется,
Твой подъезд...

7.

Задержать бы у порога
И просить, забыв смущенье:
«Подожди. Ну ради бога.
Пропадет стихотворенье.»

Ты б, конечно, удивилась.
Я сознался бы при этом,
Что хочу (уж так случилось)
Стать не кем-нибудь — поэтом.

Я бы стежкой голубою
Через всю тайгу, по теням,
Уманул тебя с собою
В глушь, к непуганым оленям.

Нас бы встретили олени,
Мускуластые, как глыбы,
Приклонили бы колени
И рогами потрясли бы.

Бродит ветер-заполоха,
Костерок в низинке шает.
Все бы это и неплохо.
Все бы так. Но «бы» мешает.

8.

Пиджак нараспашку.
Встану, как франт.
На белую рубашку
Да черный бант.

Без чепухи
Я стихи начну.
Эти стихи
Про тебя одну.

Люди заморожены,
Люди молчат,
Слова в них брошены,
Стучат, как град.

Скачут вприскокку.
Ай да голова!
В самую точку
Попали слова!

Тети и дяди —
И те в слезах,
А я на эстраде
Стою в цветах...

9.

Только брызги на подножку,
Только ветер по плечу.
Я к заветному окошку
На машине подкачу.

Словно в фильме детективном,
Надавлю на тормоза.
Ты в костюмчике спортивном,
Несусветные глаза.

А я этаким медведем
Басовито: «Ну, мой друг,
Так куда же мы поедем!»
Сядешь рядышком: «На юг».

Справа — сосны, слева — поле,
А дорога далека.
Ты прижалась поневоле:
Скорость очень велика.

Жму вовсю. И мне забава!
Лишь бы выдержал мотор.
Поле — слева, сосны — справа.
Фантазер я, фантазер,

Враль. К тому ж и незатейный.
Никакой машины нет.
Просто нынче лотерейный
Я купил себе билет.

10.

Бо мне мягкоты-ы...
Как вата я...
Ты... Это ты
Виноватая...

А твой-то объектик — жмотина,
Каких еще не видал.
Перчатки просил — фигушки,
Не дал!

Разрядник. Его ночами я
Казню тыщу раз подряд.
Значок нацепил. Подумаешь,
Разряд!

Боксуется в клубе водников,
В хоре поет про степь,
А я бы его да в ямочку,
На цель.

На бритую на макушечку
Водою бы кап да кап,
Я б жилы ему повытянул,
Да я б...

— Не курит, не пьет, — сказала мне
Однажды мама моя.
Мне что из того! Целуюсь-то
Не я.

Ах, ничего такого я
Не сотворю над ним!

Глаза заморгали, будто бы
Дым, дым...

Во мне мягкоты-ы...
Как вата, я...
Ты... Это ты
Виноватая...

11.

Помню смутно. Все, как угар.
Вечер. И вдруг с небосклона,
А может, с крыши — человек-шар
С ножками эмбриона.

Вплыл в окошко и сел башкой
На подлокотник кресла.
Я говорю ему:
— Кто такой!
Переверни-ка чресла.

Гляжу и думаю: «Это ж сон!»
Гляжу я на эту грыжу.
— Ты, — говорю, — из каких сторон!
— С неба. Не видишь!
— Вижу.

А почему ты такой смешной!
— Я ж из другого мира.
— Башка твоя, как котел пивной,
А ножки так, для близира.

— Да, — вздохнула грыжа, — да, да,
Были и мы с ногами.
Швыдко бегали мы тогда,
Не шевеля мозгами.

Однако — время... День ото дня
(А день наш — целая эра)
Мозги росли, и вот у меня
Башка такого размера.

— Слушай, а как вы насчет... того!..
— Чего!

— Ну насчет интимной,
Сердечной струнки!
— Чего, чего!
— Ну, в общем, насчет взаимной

И не взаимной любви!
— А так.
— Как же!
— Проще простого:
Две пробирки сдвигаем — чак! —
В машину — и все готово.

Главное — гены. Они у нас
Выдержат все геены.

Гены для слуха, гены для глаз,
Для родинок тоже гены.

— А я вот...
— Любишь!
— Уж с месяц.
— Ого!
— Чего!
— Многовато.
— Ну уж...
— А ты поцелуй и поймешь — до того
Противно!
— Кого ты дуришь!

— Боишься!
— Ни капли.
— Тогда испытай.
Губы-то в губы близко
Сойдутся — и склизко. Мокро, считай.
— Не склизко, а скользко.
— Склизко.

— А как же любовь, стихи!
— Ерунда.
Писать-то всякий напишет.
— Всякий! Пошел ты, знаешь куда?
Сказал бы, да мать услышит.

12.

Была, как жук,
Расчерным-черна,
Была и вдруг —
Вот тебе на!

С макушки до туфель
Белым-бела.
Фуфель-муфель!
Ну и дела!

Метаморфоза!
Химия! Но
Все та же поза
Актрис кино.

Голос ватой:
— Ну-к, позови
Из двадцать пятой
Объект любви.

А я шепчу:
— Наклонись чуток, —
Припал к плечу,
Зажмурился — чмок!

Ударила! Нет.
Засмеялась! Нет.
Сказала: «Сгинь»
И дала конфет.

13.

Лучше бы ударила
На виду у всех,
Лучше бы ошпарила
Смехом — эх!

Эх, моя головушка,
Не клонись давай!
Эх, моя стыдобушка
Через край!

14.

Примеряла ты колечко,
Любовалась.
Не слезой твое сердечко
Обливалось.

Щебетала, выбегая.
А у входа
Легковушка голубая,
Тьма народа.

К жениху ты прислонилась
Да щекою...
Нет, земля не провалилась
Подо мною.

Гул в ушную перепонку.
Пальцам жарко.

Отойду-ка я в сторонку.
Мне не жалко.

Подставляй милому губки.
Мне не больно.
Все! Я выкину облюбки.
И довольню.

15.

Тук, тук, перестук...
Рядом лужица,
А в воде солнца круг
Так и кружится.

Обнимает жених,
Шепчет: «Лапонька».
Пнул я солнце на них:
— Забирайте-ка!

Я бегу, а во след:
— Брось ты, ну ее.
Есть любовь или нет!
— Нет, — скажу я вам, —

Вся любовь — ерунда,
Дело пятое. —
А себе скажу: — Да,
Есть, проклятая!

1970 г.



Гаврилов Евгений Сергеевич родился в 1955 году в пос. Зимовники Ростовской области. Работал на заводе. Сейчас студент Алтайского государственного университета. Публиковался в «Алтайской правде». Член барнаульской литературной студии.

Евгений ГАВРИЛОВ

ДОБРОЙ НОЧИ, МИСТЕР КИС

— Знаешь, кто приехал? — спросил Витька, усевшись на диван и дергая за усы кота по имени Мистер Кис. — Ни за что не догадаешься.

— Не тронь животное, — сказал Толик и закрыл крышку пианино.

— Подумаешь... — Витька сбросил кота на пол и сделал вид, что обиделся, но долго молчать он не мог.

— Иди сюда, на ухо скажу.

— Отстань, — отмахнулся от него Толик, — мне ноты нужно переписать.

— Дурак, Люська к бабушке приехала.

— Какая Люська?

— А ты и в самом деле дурак. Какая Люська, — передразнил он Толика, — Вершинина, не забыл еще, как в третьем классе мы ей записочки писали?

Толик немного покраснел.

— Ага, вспомнил, — обрадовался тот. — Вчера прикатила, а завтра уже уезжает. Да брось ты свои крючки писать, давай лучше закурим.

Витька небрежно достал из кармана папиросы и как заправский курильщик шелкнул ногтем по пачке, отчего одна папироса вылезла наполовину.

— С ума сошел, — остановил его Толик, — здесь нельзя.

— У, маменькин сыночек, — Витька заводил своим длинным носом, словно выскивая место, где можно будет покурить.

— В туалете тоже нельзя.

— Нельзя, нельзя, не квартира, а черт знает что такое. Тогда идем ко мне.

Идем, — повторил Витька, видя, что Толик не торопится. — Да не дрейфь, мои все на работе.

У себя дома Витька включил приемник, настроился на станцию, где передавали бойкую музыку вперемешку с тонким пронзительным свистом и удовлетворенно сказал: «Кайф будем ловить, мелкими глотками, закуривай».

Отказаться от папирос было неудобно, Толик наклонился к горячей спичке и прикурил, и сразу же почувствовал горечь во рту и легкую тошноту, комком вставшую в горле.

— Значит, так, — сказал Витька, выпуская дым маленькими колечками и пытаясь поймать их на палец, — сегодня в двадцать ноль-ноль Люська придет на нашу скамейку. А ты?

Толик пожал плечами.

— Скажи маменьке, что пойдешь в библиотеку — сразу отпустит, — съехидничал Витька.

— Приду, — Толик аккуратно загасил папиросу и встал.

— Нотный стан, скрипичный ключ, опять крючки рисовать?

— Надо, — сказал Толик и вздохнул, — ну я пойду.

— Иди. — Витька достал еще одну папиросу и подул в мундштук. — Иди-иди.

Вернувшись к себе, Толик закрылся в ванной и почистил зубы «Поморином». Пос-

ле этого он сложил ладонь лодочкой и, поднеся ко рту, подышал в нее. Табаком вроде бы не пахло, но на всякий случай он взял одеколон и помазал им пробивающиеся над верхней губой усики, еще совсем маленькие и светлые.

Заниматься ему расхотелось. Он немного поиграл с Мистером Кисом, полистал новый журнал, но все это было скучным, а часы показывали только три.

— Мы сегодня с мамой пойдем в кино, — сказал после ужина отец, просматривая газету. — Вернемся поздно, так что ложитесь без нас, не ждите.

— Хорошо, — ответил Толик.

— Ты сегодня играл? — спросила мама.

— Три часа.

— С Мистером Кисом, — добавил отец.

— Честное слово.

— А что нам на это скажет Мистер Кис? — спросил отец и взял кота на руки, отчего тот сразу довольно заурчал.

— Не забудь после кота вымыть руки, — напомнила мама.

Восьми вечера Толик дождался еле-еле, каждые пять минут он подходил к будильнику и смотрел на стрелки, умоляя их двигаться быстрее.

— Наш кавалер куда-то собрался, — заметил отец.

— Я немного погуляю перед сном, — ответил Толик, приглаживая у зеркала волосы.

— Опять со своим Витькой? Смотри, доведет он тебя до чего-нибудь такого.

Но до чего может его довести Витька, Толик уже не слышал. Он вышел на лестничную площадку и почувствовал, как застучало сердце.

— Ровно в девять будь дома, — крикнула ему вдогонку мама, — у Вики нет ключей.

Подходя к скамейке, Толик понял, что Люся и Витька уже там — еще издали услышал он бойкий голос друга и ее смех, легкий и какой-то теплый, от которого у Толика внутри все замерло. Стараясь выглядеть как можно старше и солидней, он засунул руки в карманы и продрался сквозь кусты сирени.

— Привет честной компании, — с независимым видом бросил он, усаживаясь на скамейку рядом с Люсей.

— Бетховен явился, — представил его Люсе Витька. — Можете познакомиться с будущим великим композитором и музыкантом.

Люся внимательно посмотрела на Толика, подняв свои большие глаза со слегка подкрашенными ресницами, и сказала:

— Ни за что бы тебя не узнала, Толик.

Какая она была? Да разве можно об этом сказать? Толик сидел и смотрел на ее профиль, на длинную шею с маленькой родинкой, на то, как она надувала порой губки и ему было так хорошо, так одуряюще сильно пахла сирень, что хотелось сидеть вот так целую вечность и смотреть на Люсю, на сирень, на звезды...

До четвертого класса Люся училась вместе с ним и Витькой и жила в соседнем дворе, но потом ее отца перевели в Казань и она уехала, и раньше никогда не приезжала на каникулы к бабушке, которая осталась здесь, ни летом, ни зимой.

Витька рассказывал что-то глупое, но она смеялась. «А как у вас в Казани, а как ваша Волга?» — спрашивал он ее, а Толик сидел и не мог придумать ничего интересного. В голове крутилось только то, как Иван Грозный взял Казань в одна тысяча пятьсот пятьдесят втором году, но разве об этом скажешь?

— Что-то Толик у нас скучает, — заметила Люся.

— Он у нас тонкая поэтическая натура, — ответил за друга Витька. — Все девочки нашего, теперь уже восьмого «Б», сохнут по нему.

— Правда? — спросила Люся, обернувшись к Толику, и он смутился, не зная, что на это ответить.

Неизвестно, как бы он вышел из этого положения, но в это время кусты зашуршали, и из них вылез Сашка Бобыкин из параллельного класса.

— Ого, — удивленно сказал он, — чего это вы здесь делаете?

— Чего, чего, живу я здесь, — пробашил Витька, и они все засмеялись.

— Подвинься, — сказал Толику Сашка, норовя сесть между ним и Люсей, но Толик на это мотнул головой и придвинулся к ней поближе да так, что ее и его колени соприкоснулись. Люся этого даже не заметила, и тогда он придвинулся еще ближе, чувствуя тепло ее ноги. Так они и сидели, Витька рассказывал анекдоты, Люся с Сашкой смеялись, а он глупо улыбался и хлопал глазами.

— Да, — вдруг вспомнил Сашка, — тебя же сестра искала.

— Меня? — машинально переспросил Толик, чувствуя, что Сашка обращается к нему, но не понимая смысла сказанного.

— Тебя, тебя, бегаешь по двору и злишься.

Оставил ты ее без ключа, — и Сашка хотнул.

Толик даже не помнил, как он встал и медленно побрел по дорожке к дому, опустив голову. Люся что-то сказала ему, кажется попрощалась, и он ответил, но все было как в тумане, словно это был не он, а кто-то другой, и вокруг пустота.

Дома Вика еще выговаривала ему, а он покорно кивал головой, не слушая, о чем идет речь. Мистер Кис гонял по полу перышко от подушки и прыгал.

— Вика, я пойду еще на немного? — спросил Толик, когда сестра успокоилась.

— Куда?

— На улицу, погулять.

— Вы меня удивляете, Анатолий Владиславович. Который час?

— Ну десять.

— Перестань нукать, это вредная привычка. В половине одиннадцатого ты должен выпить свой кефир и лечь спать.

— Вика...

— Никаких Вик, а то скажу маме, ясно? — дальше разговаривать она с ним не стала и пошла переодеваться в другую комнату.

Наконец Вика вышла из комнаты в своем цветастом халатике.

— Иди умойся, вымой с мылом руки, — сказала она с теми же интонациями, что и у мамы, — будем пить кефир.

— Вика, — спросил он ее за столом, — а тебе нравится имя Люся?

— А почему ты меня об этом спрашиваешь? — удивилась она, и внимательно, как ему показалось, посмотрела на него.

— Просто так, — он отвел глаза и стал смотреть в чашку.

— Это имя собственное, самобытное, русское, созданное по типу древних сложных имен. Примерно означает — милая людям, добрая, отзывчивая. Только правильно не Люся, а Люда, — сестра знала все, она заканчивала филфак.

— Перед сном не забудь почистить зубы, — напомнила ему сестра, — и не вздумай взять в постель Мистера Киса.

Она пошла в спальню стелить ему постель.

— Доброй ночи, Мистер Кис, — сказал Толик коту, развалившемуся на полу и жмурящемуся при свете люстры.

Он разделся и юркнул под одеяло. Сначала он немного замерз, но потом быстро согрелся, свернувшись калачиком, зажав ладони между коленок. Вика сидела за письменным столом и занималась. От света настольной лампы под розовым абажуром в комнате было очень уютно, но почему-то немного грустно. Толику не спалось, сон все не шел и в голову лезла мысль о том, разошлись уже по домам Люся и Витька или нет.

— Не оборачивайся, мне надо встать, — сказал он сестре.

— Зачем?

— Сказал, надо...

Он осторожно вылез из-под одеяла и прошел в зал. Мистер Кис все еще лежал на полу. Толик взял его за пушистые лапы и прижал к груди.

— Тихо, Мистер Кис, — шепнул он коту на ухо и вернулся обратно в спальню.

— Не оборачивайся, — снова предупредил он Вику.

— Очень надо, — сказала та и дернула плечиком.

Толик сунул кота под одеяло и сам накрылся с головой. Кот был теплым, приятно щекотал своей шерсткой и тыкался влажным носом. Толик погладил его и кот заурчал.

— Тихо, Мистер Кис, — умоляюще попросил его шепотом Толик и высунулся из-под одеяла, чтобы проверить, не услышала ли этого мурлыканья сестра, но та занималась, склонившись над учебниками.

— Доброй ночи, Мистер Кис, — шепнул Толик, — доброй ночи.

ВЕНЕРА

Чем заняться после ужина, Николай не знал, и потому просто сидел на кухне,ковырял в зубах спичкой и поглядывал то в окно, то на жену Клавдию, гремевшую над раковиной посудой.

— Санька, — кликнул он сына, когда спичка сломалась, — тащи портфель, уроки проверять буду.

— Ты это чего? — удивилась жена, — заняться, что ль, нечем? Вантус вон лучше возьми да стояк в ванне прочисть. Третий день никак не соберешься.

— погоди, — отмахнулся от нее Николай. — Санька, долго тебя еще ждать?

— Так, — сказал он, когда сын наконец пришел на кухню, взял протянутый ему

портфель и посмотрел сначала на Саньку, а потом на жену. — История завтра есть?

— Есть, — буркнул Санька, недовольный тем, что его оторвали от книжки про пиратов.

— Значит, так, сейчас посмотрим, кто из нас историю лучше знает. — Николай достал из портфеля учебник и раскрыл книгу где-то на середине.

— Вопрос номер один. Гуситские войны.

— Гуси, что ль, воевали? — хмыкнула Клавдия.

— Тундра... — с укоризной посмотрел на жену Николай.

— А мы про это еще не проходили, — сказал Санька и стал ковырять ногтем стенку.

— Не проходили... — передразнил Николай, — это же войны, я бы на твоём месте давно сто раз про них прочел, лодырь несчастный.

— А сам-то знаешь? — с издевкой, как ему показалось, спросила жена.

— Ну я, допустим, когда-то учил... Забыл уже, правда, времени много прошло... — тут он перехватил язвительный взгляд жены, и, повысив голос, добавил: «Но я помню, что это воевали чехи и ихнего вождя звали Ян Гус или Жижка».

— Чо, у него две фамилии были?

— Одна фамилия и одна кличка, все ясно? — здесь Николай решил прервать свой экскурс в историю, чувствуя, что если жена задаст ему еще хоть один вопрос таким же подозрительным голосом, как и первый, то он не выдержит и скажет ей кое-что покрепче.

— Чо еще на завтра задали?

— Литература, Пушкин.

— Пушкин, говоришь, Александр Сергеевич? — Николай оживился — как-никак и книги его когда-то читал, и кино смотрел. Он достал учебник литературы, но открывать не стал, потому что Санька, не дожидаясь вопроса, начал читать наизусть стихотворение.

Когда он кончил, Николай взял папиросу, размял ее и сказал: «Соврал ты, брат, в одном месте».

— Я соврал? — обиделся сын. — Да знаешь, как учил?

— В одном месте соврал. Там, я помню, рифма должна быть, а у тебя ее нет. Стас проверим.

Он раскрыл учебник и стал искать по оглавлению Пушкина. И тут из книжки выпал какой-то листок.

— Эх, едри твою семь-восемь, — ругнулся Николай, — ну сын, ну удумал, — с

листка, который он поднял с пола, на него смотрела голая женщина, развалившаяся на диване. Совсем голая. Картинка была аккуратно вырезана из какого-то журнала или календаря, потому что на обороте он разглядел буквы.

— Господи! — всплеснула руками неизвестно каким образом оказавшаяся возле мужа Клавдия, — этого нам еще не хватало, — сказав это, она подлетела к Саньке, худенькая, меньше своего двенадцатилетнего сына на полголовы, и стегнула его полотенцем.

— Это, жена, голая баба, — сказал Николай, почесывая переносицу и думая, что бы сказать еще.

— Да это же... — Клавдия никак не могла подобрать нужного слова и он под-сказал:

— Порнография, — и сам удивился тому, что знает, как называются подобные вещи.

Нужное слово нашлось, жена повторила его, но не спокойно, как сказал Николай, а скорее выкрикнула, и еще раз стегнула Саньку полотенцем, теперь уже по голове. Сын ойкнул, присел на секунду и кинулся к двери, но Клавдия успела поймать его за ухо.

— Это чо такое? — крикнула она.

Санькино лицо сморщилось, он всхлипнул, но выдал: «Это... прелесть обнаженной натуры».

— Едри твою семь-восемь, — Николай положил в пепельницу папиросу, которую все еще не прикурил, и хлопнул себя по коленкам.

— Это какая прелесть? — переспросила Клавдия.

— Обнаженной... — договорить сын не успел — она потащила его за ухо из кухни в комнату.

Николай остался один. Теперь уже он наконец закурил, отогнал от лица облачко дыма и прислушался. Из-за закрытой двери доносились Санькины всхлипывания и приглушенное бормотание жены, и изредка позвякивала пряжка ремня.

Когда всхлипывания перешли в вой, Николаю стало как-то не по себе и хотя порол не он, а жена, но ремень-то был его и получалось, что он тоже принимал участие в этой порке.

Николай вздохнул и крикнул: «Клава, ты того... Хватит, уймись».

Когда жена вернулась на кухню, он разглядывал эту картинку. Женщина спокойно лежала и смотрела прямо на него, и ее тело, как ему показалось, будто светилось изну-

три и притягивало к себе его взгляд, манило, что ли...

Николай перевел взгляд с картинки на жену, растрепанную после борьбы с Санькой, с красными пятнами на щеках, и опять посмотрел на картинку. И снова на жену.

— Дай сюда, — сказала Клавдия и вырвала у него из рук этот листок. Потом сложила его вдвое и принялась рвать на мелкие кусочки.

— Вот так, — сказала она и ссыпала обрывки в карман халата. Помолчала с минуту и добавила: «Прелесть обнаженной натуры... Разврат».

— Я ее где-то видел, — задумчиво то ли жене, то ли самому себе сказал Николай. — Точно видел. Может, в журнале каком или по телевизору. Из музея вроде передача была.

— Он мне сказал, что им учитель какой-то лекцию читал, а ему эта картинка понравилась, вот он ее в библиотеке из журнала и вырезал.

— Может, здесь ничего такого и не было, а?

— Разврат, — перебила его Клавдия, — голых баб рисуют. И этот, твой, туда же. За это срок дают, за эту порнографию. Воспитатель.

Последнее слово она проговорила чуть ли не по слогам, с вызовом посмотрела на мужа и вышла из кухни. Николай хотел что-нибудь ответить ей на это, но она уже ушла, и он только махнул рукой, закуривая еще одну папиросу.

— Это вроде Венера, — вспомнил вдруг он, как звали женщину с того рисунка. — Точно, Венера.

Ему захотелось еще раз взглянуть на нее, но картинка уже не было, даже обрывки Клавдия унесла с собой. Тогда он стал смотреть на луну, низко висевшую над крышей соседнего дома, так низко, что, казалось, ее можно было достать с этой крыши палкой.

Луна была сегодня какой-то золотистой, как тело Венеры с картинки, и также светилась изнутри.

Папироса догорела до самого мундштука, он сделал последнюю затяжку, затем зачерпнул из кастрюли кислящего домашнего квасу, выпил и пошел в комнату.

Жена сидела у телевизора и смотрела концерт.

— Спит? — спросил он, кивнув на дверь к Саньке.

— Сходи и посмотри, если интересно, — ответила Клавдия даже не обернувшись.

— И схожу, — обиделся вдруг на нее

Николай. — Ты-то тоже хороша, развоялась прямо как этот Гус.

— Может, его за такие дела по головке гладить? Я еще к учителю пойду.

— Гладить не гладить, а так тоже нельзя — чуть что — сразу за ремень хвататься.

— Иди, иди, пожалей, — сказала вдогонку жена, — он потом сядет тебе на шею и ножки свесит.

Санькина кровать стояла у стенки, и на нее падал свет от фонаря во дворе. Николай присел на краешек, и Санька едва заметно подвинулся, но Николай уловил это движение и понял, что сын еще не спит. Он еще не знал, что сейчас скажет сыну, смотрел на его стриженую, с оттопыренными ушами и родинкой на самой макушке голову, и ему вдруг очень захотелось погладить эту макушку, почувствовать под ладонью короткий и жесткий ежик волос. Он уже протянул руку, но тут как-то неожиданно понял, что если он это сделает, то Санька расплачется. Он вспомнил, как случилось это в детстве с ним самим, только порола его мать не за картинку, а за курево. Выпорет, а потом тоже, вот так, подойдет вечером и погладит. И слезы, казалось, заплаканные совсем уже до единой капельки, снова начинали бежать по щекам горячими дорожками, словно их выдавливала из глаз жесткая, в мозолях, рука матери. И ему было горько, стыдно за эти слезы и почему-то немного сладко. А потом уже заплаканные, уставшие глаза закрывались тяжелыми, такими же горячими, как и слезы, веками под тихое бормотание бабкиной молитвы: «А еще прошу, господи, не за себя, за детей и внуков своих прошу...»

— Санька, а ведь мне тоже от матери влетало, — вдруг вырвалось у него, — да еще как! Веревкой скрученной драла, до сих пор помню. Слышишь?

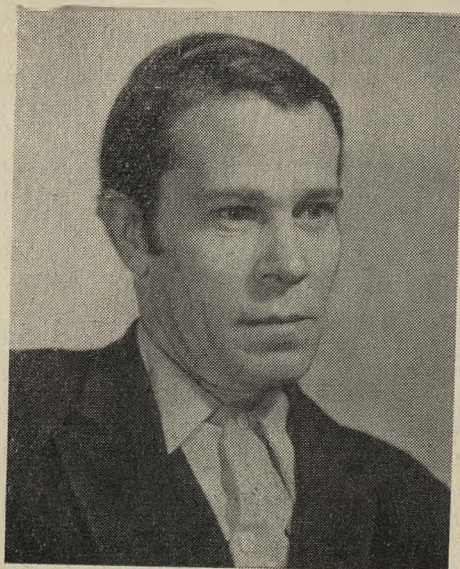
— Я сплю уже, — прогудел сын, примирительно и совсем не сердито.

— Ну валяй, — согласился Николай и поднялся с кровати. — Только мать у нас с тобой ничего, даже хорошая у нас мать, мировая... «Хоть и не Венера», — усмехнулся он уже про себя.

Над Санькиной кроватью висели рисунки — ракета, летящий по волнам корабль с надутыми парусами, какие-то звери — не то слоны, не то носороги.

— Художник, — снова улыбнулся он, оглядывая напоследок комнату, словно проверяя, не забыл ли чего здесь. — Глядишь, скоро и мать нарисует...

И пошел к ней, к своей Венере.



Володин Геннадий Григорьевич родился в 1936 году в Барнауле. Во время службы в Советской Армии был литературным сотрудником военной газеты. Несколько лет ходил с отрядом геодезистов в глухие районы горной тайги. По впечатлениям жизни в отряде написаны многие стихи. Автор книг «Лесные новости», «Я иду по тайге», «Гудки», «Березовый свет» и других. Занимается переводами с алтайского и немецкого языков. Пишет стихи и рассказы для детей.

Геннадий ВОЛОДИН

ПЕРВОЗИМОК

Не пора ли кончить хмуриться,
Думать думу о весне.
Посмотри, идет на улице
Молодой веселый снег.
Он блестит, переливается
Словно весь из серебра.
Первозимком называется
Эта светлая пора.
Так пойдем по белой замяти
За деревню до моста.
Пусть в сердцах у нас и в памяти
Оседают чистота.
Пусть она запасом прочности
Станет нам на все года.
Так же, как для этой рощицы,
Что извечно молода.
Ну пойдем!
Чего ж ты хмуришься,
Дорогой мой человек!
Посмотри, идет на улице
Молодой веселый снег.

* * *

Здесь уж не до смеха,
На до шуток здесь,
Ядовитым вехом
Склон покрылся весь.
И откуда лихо
Это приползло!
Было ведь — гречиха
Здесь цвела бело.

И висел над склоном
Гул пчелиных лёт
В мареве зеленом
Лето напролет.
Но по чьей-то воле
Получилось так:
Брошенное поле
Полонил сорняк...

Ведь и в жизни так:
Брошенные души
Занимает враг.

ЛЮБЛЮ ГРОЗУ

Люблю грозу! Не ту, что стороною,
Ломая копыя молний пролетит.
А ту, что вдруг грохочет надо мною,
Пытаясь смять и сбить меня с пути.
Пройдет она и — все грехи наружу,
И все мои ошибки на виду.
Я их легко и просто обнаружу,
Стряхну, как пыль, и дальше
в жизнь пойду.

* * *

Приди, Мария, зажги снега!
Пусть рухнут эти сугробы-дюны,
Пусть обнажаются берега
У нашей речки — таежной Руны.

Пусть снова филин кричит в тиши
О том, что скоро продаст он шубу.
Ах, свет-Мария, ты поспеши!
Хочу, чтоб ночи пошли на убыль,
Хочу, чтоб снова в часы зари,
Презрев опасность, забыв про пищу,
В весну влюбленные глухари,
Слетались к старому токовищу.
И бормотали свое:
«Чиш-ш-ши!»
Трясли воинственно бородами.
Ах, свет-Мария, ты поспеши!
Ведь наши души заохлодали.
Пришли к нам с Юга теплынь-волну
И сразу столько всего случится!
Пускай не жду я свою весну —
Она другим в сердца постучится.

* * *

Скоро лягут снега на поля и луга,
Льдом покроются реки, озера.
И начнет,
как шаманка,
кружиться пурга
По широким алтайским просторам.
Заметет все тропинки в степной Кулунде,
Заровняет в предгорьях разлоги.
До чего ж хорошо по земле и воде
Пролагать в эту пору дороги!
Хорошо на полях

и в тайге,
и в лугу

В перевозимных ветрах ледящих
Оставлять голубые следы на снегу,
Как начало дорог предстоящих.

* * *

Вл. Башурову

Веселое солнце смеется —
Счастливое солнце весны...
Ну как вам на свете живется
Сегодня, ручьи-певуны!
Не высохли! Не обмелели!
Не держат вас крепки запруд!
Хотя, поминаю, в апреле
Вас люди вовек не запрут.
Звените! Дышите свободой!
Неситесь, кусты теребя!
В апреле дается Природой
Вам право быть выше себя.
Дается и в мае.
А летом,
Лишь стоит вам в русло войти
И — всё.
Ваша песенка спета:
Скучать вам тогда взаперти.

* * *

Прижгло морозом яблоневого цвет.
И замолчали соловьи в печали,
Как будто в их запасе песен нет,
Еще неспетых лунными ночами.
Да и другие птицы не поют.
И как-то понимается подспудно:
Когда на свете трудно соловью,
Тогда и воробью на свете трудно.
Он тоже на молчанье обречен,
Как все собратья, до иного срока.
И лишь трещит неведомо о чем
Возвышенно болтливая сорока.

* * *

Протрубил за узкою грядой
Над альпийским лугом козодой.
Засветилась первая звезда,
Холодком дохнуло из разлога,
Затерялась в сумраке гряда,
Утонула в темноте дорога.
Ветер гукнул тихо и заснул
У столетних кедров под ногами.
Круглую, как колобок, луну
Лось на сопку выкатил рогами.
И застыл на гребне у горы,
Словно изваянье, до поры.
Где-то тонко тьякнула лиса,
Вдалеке ответила другая.
Полились ночные голоса,
Обитателей дневных пугая.
Всюду совы встали на крыло,
Сил своих почувствовав избыток.
И такое всюду началось,
Что от глаз при свете дня укрыто.
Протрубил за узкою грядой,
Вызвав жизнь ночную, козодой.

* * *

Выйду в детство.
У рябины постою.
И присяду на знакомую скамейку.
На осеннюю забoku посмотрю,
Что походит на вечернюю зарю.
И всетрепетная листьев мелькотня
Опалит холодным пламенем меня.
Неожиданно,
нещадно опалит,
Так, что сердце почему-то заболит.
Но, предчувствуя неясную беду,
Я от пламени глаза не отведу.
И подскажет мне вечерняя заря,

Что и сам я на пороге сентября,
Накануне листопада.
Ну и пусть!
Не расстроюсь;
Для чего мне нынче грусть!
Я иначе начинаю жизнь свою.
Выйду в детство.
У рябины постою.

Рассветный час.
Как слышно тишину!
И сколько в ней таится разных таинств!
Я в тишине, как в омуте, тону
И выплывать отсюда не пытаюсь.
Дышу прохладным запахом земли
И пробую на вкус нектар с росой.
Вот первый луч проклюнулся вдали
И лег на травы светлой полосой.
За ним другой. И тьмы в помине нет —
Рассеялась.
И вдруг я замечаю:
Не солнечный, иной какой-то свет
Сегодня роща ярко излучает.
Не камень-самоцвет ли там в траве
Лежит и подыхает белорозов!
А свет течет, струится по листве.
Неужто это светятся березы!
И впрямь они!
Да ведь когда-то дед
Рассказывал мне именно об этом.
...Вот так же огненно вставал рассвет
Над полевым у рощи лазаретом.
В кустах ручей чуть слышно токовал,
Спеша к недалекой мельничной запруде.
Они лежали на траве вповал,
Больные, обессиленные люди.
И всех сюда их свел недавний бой,
Прогрохотавший у деревни грозно...
Вдруг кто-то крикнул, позабыв про боль:
— Ребята! Гляньте! Светятся березы!
И сорок, замугненных болью, глаз
Вот этот свет надеждою усилил.
И вдруг припомнил каждый в этот час
Свой самый близкий уголок России,
Где в первый раз увидел свет берез,
Где пил впервой росу с нектаром сладким.
И медсестра, сдержать не в силах слез,
От раненых ушла к себе в палатку.
А свет густел. И ширился рассвет,
Выпугивая в небо птичьи стаи.
И, может быть, берез преемный свет —
Свет Родины — их на ноги поставил,
Чтоб им торить сквозь грозный век пути:
Заводы строить и лететь к планетам...
О, Родина! Во все века свети
Березовым неугасимым светом.

* * *

И вот дохнул подталок с юга,
Сосульки сбил,
Принизил снег.
И повстречал его как друга
В годах почтенных человек.
Он оглядел сырую тропку,
Теперь заметную чуть-чуть,
И снял ушанку неторопко,
Подставив ветру снежный чуб.
Пальто, пожившее на свете,
По-молодому распахнул,
Как будто молодостью ветер
На человека вдруг дохнул.
Подталок плыл и плыл беспечно,
Собакой ластился к ноге.
А человек шагал навстречу,
Совсем забыв о батого.

* * *

Ураган-лесовал
Ивы колесовал.
На поемном лугу
Гнул березы в дугу.
И валил на поля
Одинцы-тополя.
Вдруг в скалу-ветролом
Налетел он со злом.
С лету врезался лбом,
Отскочил
И столбом
В небо взвился.
И лег
Обессиленный в лог.

Борис РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

ХЛЕБ НАШ НАСУЩНЫЙ

ОЧЕРК

Несколько лет назад я как-то разговаривал с бывшим в ту пору первым секретарем Сорокинского райкома партии Дмитрием Алексеевичем Носовым. Посланец ленинградской партийной организации, он много лет отдал сельскому хозяйству и немало преуспел в подъеме колхозов и совхозов вверенного ему района.

В то время вышло широко известное постановление ЦК КПСС по Нечерноземью, и наш разговор с Носовым шел в основном о нем. Вернее, начался с него, с постановления, но продолжился несколько в ином плане.

Дмитрий Алексеевич развернул на столе карту Алтайского края и крупной рукой обвел некую вытянутую окружность:

— А вот — наше нечерноземье! Руки к нему по-настоящему, по-хозяйски приложить, и от земли можно получать двойную, а то и тройную отдачу.

В той окружности, что обвел Носов, было много зеленой краски — лесов; голубых прожилок и пятнышек — рек, речек, речушек и озер. Через всю территорию, выдвигая немыслимые повороты, вилась лента Чумыша, одного из крупных притоков Оби. По обе стороны реки располагались земельные угодья колхозов и совхозов Сорокинского, Тальменского, Залесовского, Кытмановского, Тогульского районов — весь восток края.

Разговор с Дмитрием Алексеевичем сводился к тому, что упомянутые районы могут и должны стать зоной устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур и в первую очередь зерновых.

— Самое главное, — говорил Носов, — у нас всегда есть влага. Зимой снегу есть где зацепиться, и он накапливается на полях по метру и больше. Весной и летом дождей выпадает несравненно больше, чем, допустим, в Кулунде. Влияет близость тайги, Салаирского кряжа...

Он был прав. Еще в конце восьмой, начале девятой пятилеток в хозяйствах Сорокинского, Кытма-

новского, Тальменского районов работали группы ученых и сотрудников АНИИЗиСа. Они тоже делали вывод о перспективности развития восточных и частично северо-восточных районов края, давали свои рекомендации по увеличению валовых сборов зерна. К слову сказать, многие из этих рекомендаций живут и действуют, и сыграли известную роль в росте урожаев в годы девятой пятилетки.

Однако не будем останавливаться на успехах. Вполне понятно, что возрастающая год от года помощь государства, приток на село новой, современной техники, удобрений, широко проводимая научная программа и многие другие факторы способствовали движению вперед.

Речь пойдет не об этом, а об использовании внутренних резервов и возможностей, которые позволили бы без капитальных затрат выращивать, образно говоря, два-три колоса там, где сейчас растет один, усилить хлебный поток в государственные закрома.

Что представляют собой восточные районы края? Это — около полумиллиона гектаров пашни, в том числе свыше 300 тысяч гектаров зерновых культур. В добрые годы отсюда поступает государству по 18—20 и больше миллионов пудов хлеба, каравай, что и говорить, солидный.

Здесь, на востоке, хорошо растет озимая рожь. Ее урожай даже в неблагоприятных климатических условиях не опускается ниже 12—15 центнеров с гектара.

Теперь посмотрим, как ведет себя основная культура — пшеница. Если ее урожайность изобразить графически, то взлеты и падения будут не такими резкими, как опять же в Кулунде. Самая низкая точка отсчета, если брать в среднем, окажется где-то на уровне 9—10 центнеров.

В то же время внутри районов наблюдается большая пестрота. Одни хозяйства и в плохие годы берут по 14—15 центнеров зерна с гектара, другие и в хорошие собирают меньше. Однако есть в этой пестроте и некая, если не закономерность, то устойчивость. Десятки колхозов и совхозов из года в год выращивают хороший хлеб. Казалось, уж какая засуха стояла в 1976 году! В среднем Тальменский район получил где-то по 10 центнеров зерна с гектара, а вот анисимовский колхоз имени Ленина взял по 17! Или в следующем, 1977 году: в среднем урожай по району — 12 центнеров, а в колхозе имени Ленина — 15 центнеров! А ведь условия такие же, как и у всех, и дождей поровну выпадало.

Подобные примеры можно найти в каждом из упоминавшихся районов. Суть дела в том, что земледельцы колхоза имени Ленина более умело применяют в своей практике достижения науки и передового опыта, творчески работают на своей земле.

И вот, если поднять среднюю урожайность гектара по всей восточной зоне до уровня передовых хозяйств, то край будет ежегодно получать дополнительно 150—180 тысяч тонн зерна.

I.

Есть в Кытмановском районе совхоз «Чумышский». Хозяйство сравнительно молодое, ему около двадцати лет. Оно и одно из крупнейших в районе: под тридцать тысяч гектаров пашни, 18—19 тысяч гектаров занято зерновыми.

Несколько лет главным агрономом в совхозе работал Леонид Александрович Катков, впоследствии заслуженный агроном РСФСР, большой умница и чародей хлебного поля. Назову сразу и фамилию директора совхоза Владимира Григорьевича Ботова, инженера по образованию и человека тоже влюбленного в землю. Ботов, к слову, и сейчас руководит хозяйством. Так вот, оба этих энергичных человека, агроном и директор, заложили и развили в совхозе новую по сравнению с существовавшей систему земледелия. Может, сказано и несколько громко — новая система! — но этим утверждением хочется подчеркнуть, что ломка действительно была большой.

Первыми во всем районе, да что в районе, в своей зоне Катков с Ботовым начали пахать зябь без отвалов. В начальную осень подняли такой зяби 500 гектаров. Вспахали, может, и больше бы, но приехал секретарь райкома партии, покрутил головой:

— Кончайте экспериментировать! Вон как землю испохабили...

Что говорить, безотвальная зябь некрасивая: гребнистая, стерня в разные стороны торчит... То ли дело испытанная, апробированная веками, вдоль и поперек проборонованная. Механизаторы и те сопротивлялись, а старички и вовсе отказывались пахать без отвалов, хотя Катков не раз им объяснял и доказывал пользу нового. Трактористы махали руками и знай отвечали: «Пусть кто другой портачит — мы не будем!» Зато молодежь взялась без оглядки.

Следующий год хотя и не убедил всех, но заставил задуматься. «Безотвалка» дала урожай на 3 центнера с гектара выше, чем другие поля. И осенью под бдительным оком Каткова и его помощников было поднято уже две тысячи гектаров «некрасивой» зяби.

Этим двум тысячам, кстати, пришлось выдерживать настоящий экзамен на право дальнейшего существования. Лето выдалось непутевое, засушливое, пшеница поднялась невысоко и так и застыла в росте. Однако на безотвальной зяби, где влаги сохранилось гораздо больше, урожай вырос опять не в пример лучше.

Спустя три года совхоз полностью перешел на безотвальную обработку земли. Сейчас об этом можно было бы и не рассказывать: эка невидаль, пахота без отвалов, да ее почти каждое хозяйство применяет!

Так-то оно так. Но кто-то был и самым первым, прокладывав путь, утверждал новое, передовое, шел на известный риск, но тем не менее не отступал. Этой вот настойчивости, в сочетании с творческим подходом к делу, с поиском, и не хватает многим специалистам, руководителям хозяйств. Да, конечно, потом и они взялись. Но ведь время не повернешь вспять и что было улушено, то пропало безвозвратно. Такую картину можно и сейчас наблюдать: одни смотрят вперед, а другие смотрят на них. Получится, мол, и мы применим, а не получится — в накладе не останемся. Кто страдает от такой позиции? Только дело.

Но вернемся к «Чумышскому». Когда Катков с Ботовым только начинали вводить свои новшества, средние урожаи зерна составляли по совхозу 11—12—13 центнеров. Потом они стали подниматься — 14... 15... 16 центнеров. Совхоз начал сдавать государству по 500—600 тысяч пудов зерна, а в урожайные годы дошел и до миллиона.

Конечно, на этот рост повлияла не только безотвальная пахота. Она была лишь одним из звеньев общей цепи, хотя и основополагающим. Коллектив совхоза, и в первую очередь коммунисты, начали поход за высокую культуру земледелия. Дел тут было непочатый край. И опять же в «Чумышском» за них взялись по-своему, не как везде.

Соседи весь упор сосредоточили на агрономической службе. Главный ключ к успехам они видели во внедрении правильных севооборотов, в чередовании культур, в приемах обработки земли, в способах сева. Всем этим занимались и в «Чумышском». Но в то же время здесь выдвинули вперед фигуру механизатора. До этого она была как бы в тени, несла чисто исполнительские функции. Единственными творцами урожая считались только агрономы. Трактористы же, мол, что могут? Им скажут — паши, они и пашут. Дело дошло до того, что сами-то механизаторы, я не говорю здесь, конечно, обо всех, перестали думать.

В совхозе начинали буквально с азав. Ботов смеется:

— Стали учить крестьян, как хлеб растить!

А что, и пришлось. На механизаторском всеобуче ввели дополнительные часы по агрономии, почвоведению. Да и сам всеобуч стали проводить не как придется, по вечерам, а с отрывом от производства.

По-новому начали принимать посевы по всходам. До этого, как и везде вокруг, по полям ездила комиссия из нескольких человек и выносила свои определения. Зачастую механизаторы о них даже не знали. А тут, как только появились всходы, главный агроном и директор собрали механизаторов, которые принимали участие в севе, посадили их на машины и все вместе поехали по массивам.

Вот оно — первое поле. Кто сеял? Такие-то. Механизаторы оказались дотошными судьями, мимо их глаза не прошла ни пустая строчка, ни малейшая плешинка, ни неровная заделка семян, ни что другое. Словом, в ту весну никто, ни один сеятель не получил премиальной доплаты. Так решили сами механизаторы. Зато на следующую...

Опыт «Чумышского» и некоторых других хозяйств заинтересовал краевой комитет партии. И вот в печати появилось положение о Знаке качества и на основе его повсеместно развернулось широкое социалистическое соревнование за качественные показатели на весеннем севе. К этому времени в совхозе «Чумышский» уже 70—80 процентов посевов отвечали высоким требованиям.

Наступление шло по всему фронту. И в первых его рядах шли коммунисты. О роли совхозной партийной организации в борьбе за хлеб можно рассказывать много. Но я хочу привести только один пример.

Все помнят, каким благодатным был 1972 год. Почти все хозяйства восточных районов собирали по 15—16 центнеров зерна на круг. Ну а в «Чумышском», где к той поре уже хорошо действовала новая, будем называть ее так, система земледелия, взяли по 19 центнеров. И на какой площади! Я вновь назову ее — 18 тысяч гектаров. Валовой сбор равнялся 350 тысячам центнеров.

Механизаторы радостно шутили:

— Вертите, хлопцы, дырки в пиджаках для орденов!

Награды, естественно, были. Но не о них речь. Поздней осенью в клубе собрались коммунисты. Их отряд насчитывал более ста человек, и основное ядро его состояло из механизаторов. На собрание были приглашены и все остальные трактористы и комбайнеры. К слову, это добрая традиция в совхозе — все важные вопросы жизни решать на открытых партийных собраниях.

Доклад партийный комитет поручил сделать директору совхоза коммунисту В. Г. Ботову.

И вот, можете себе представить такую картину. В зале сидят радостные люди. Они славно потрудились. И, естественно, ждут, что сейчас директор начнет называть знакомые, но такие приятные слуху

цифры, которые хочется слушать еще и еще... Но вдруг раздалось совершенно другие слова:

— О том, какой урожаи совхоз получил, все хорошо знают. А вот сколько зерна мы недополучили, об этом слышаны не многие. С площади более тысячи гектаров мы собрали урожай меньше, чем по 12 центнеров с гектара, с 3700 гектаров — от 12 до 14 центнеров, с 3500 — по 15—16 центнеров... Словом, с 11500 гектаров, или с 60 процентов площадей, занятых под зерновыми, мы получили урожай ниже 19 центнеров. И только 7 тысяч гектаров, я повторяю — семь, сделали погоду, дали сбор от 19 до 35 центнеров. Они-то и позволили вывести высокую среднюю урожайность.

В зале стояла такая тишина, что, казалось, в нем никого не было. А директор продолжал:

— Теперь задумаемся. Если бы мы получили на упомянутых 11500 гектарах по 19 центнеров зерна, то совхоз дополнительно бы продал государству свыше 40 тысяч центнеров. Вот наш резерв!

Партийное собрание продолжалось несколько часов. Цифры задела всех за живое и разговор завязался принципиальный, по-настоящему партийный. В каждом выступлении звучало одно: сделать каждое поле урожайным. Коммунисты и механизаторы поднимали вопросы дальнейшего улучшения культуры земледелия, говорили о своей роли, соревновании, творчестве... И вновь был намечен путь.

Сейчас, спустя несколько лет, можно сказать, что многое из того, о чем говорили коммунисты на своем собрании, претворено в жизнь. Лучшее используется земля. Внедряются новые сорта зерновых культур. Теснее дружба с наукой. И, как результат, гораздо меньше пестроты на полях.

Однако нам важно подчеркнуть, что ту картину, которую рисовал директор совхоза «Чумышский» в своем докладе, можно наблюдать в любом районе и за малым исключением в любом хозяйстве. А в каждом ли делаются подобные анализы, ведется действенная борьба за высокую отдачу всех полей? Увы, нет. Получил колхоз или совхоз средний урожай зерна по 17—18 центнеров и ладно, и хорошо. А то, что на значительной площади собрано вдвое меньше, — это как бы уже второстепенное.

Мне вспоминаются в связи с этим слова директора другого совхоза, «Сорокинский», Аркадия Григорьевича Антипина, умнейшего земледельца:

— Я считаю, — говорил он, — нет у нас такой земли, которая не могла бы по-доброму рожать. Дело — в подходе к ней, в ключике.

Хлеборобы «Сорокинского» находят таких «ключиков» немало. И характерно, что все они берутся в твердые руки механизаторов. В совхозе действует так называемая «безнарядка». Хозяева земли — безнарядные бригады механизаторов и главная их цель — урожай.

О «безнарядке», или о звеньях конечной продукции, одно время в периодике публиковалось немало материалов. Одни голоса раздавались за то, чтобы вводить новую систему повсеместно и безоговорочно. Другие, более осторожные, советовали сначала опробовать в отдельных хозяйствах.

На Алтае безнарядные бригады и звенья по выращиванию зерновых культур почему-то не нашли широкого распространения. Порой их создавалось много, но постепенно число их снова сокращалось. В восточных районах, о которых идет речь, новая система прижилась лишь в единичных колхозах и совхозах. Уместен вопрос — почему, ведь если говорить коротко, то «безнарядка» — это порядок на земле. Нужно бы хвататься за нее обеими руками. Между тем от многих руководителей и специалистов можно услышать: «Пробовали. Не идет!» Или: «Базы у нас еще нет, не готовы!»

И все они, или по крайней мере большинство, умалчивают о том, что безнарядная система требует всесторонней подготовки, постоянного внимания и труда, труда... Нельзя просто собрать механизаторов, сказать им — вот, мол, земля, вот орудия производства — действуйте. Нет, новая структура предполагает совершенствование всей системы управления тем или иным хозяйством, активное вторжение в жизнь науки и передового опыта, а значит и хлопот не на один год. Многих как раз это и отпугивает.

Давайте немного подробнее познакомимся с безнарядными бригадами совхоза «Сорокинский». Вот для начала прелюбопытный факт. До введения новой системы в хозяйстве вырабатывалось 120—130 тысяч гектаров мягкой пахоты (был такой термин). И вдруг в первый же год — чуть не вдвое меньше. На условный трактор тоже выработка снизилась. В чем дело? Инженерная служба, экономисты сначала даже растерялись. Крутили, вертели, пересчитывали, пока не поняли: сколько же всяких приписок, вольных и невольных, скрывалось раньше в нарядах, когда во главе угла стоял «его величество» — гектар! Теперь бумажным обработкам пришел конец, началась настоящая борьба за урожай.

Мне хочется предоставить слово агроному — организатору одной из безнарядных бригад совхоза, своему старому знакомому Павлу Ивановичу Субботину:

— Уже в первую весну мы почувствовали себя настоящими хозяевами. Как-то сразу поняли, чем больше хлеба вырастим, тем больше заработаем. Тогда же и закрутили, можно сказать, впервые собственными мозгами: а как сделать, чтобы побольше зерна взять? До этого-то за нас думали и агроном, и управляющий, и инженер, и другие специалисты. И сейчас, понятно, думают, но с ними вместе — и мы. Есть у нас один косогор. Сроду на нем собирали по 3 центнера зерна с гектара. И ничего, мирились. Благо и за причинами не надо было далеко ходить: земля плохая, влага весной быстро уходит, солнце летом хлеб поджаривает. А вот теперь дошло: надо с косогорчиком немедленно что-то делать, иначе он, как камень, на шею будет висеть. Вспахали сначала осенью косогор без отвалов. Весной, когда еще и звуков в полях не слышать, а мы свой косогор уже утюжим, талые воды сохраняем. Сев на нем произвели в самую первую очередь, чтобы почвенной влаги больше хватило. Что ж, осенью смотрим — наш косогорчик-то раскошелился: почти на 4 центнера прибавки дал на гектаре.

К этому рассказу трудно что-либо добавить.

Но вместе с тем хочется сказать и вот о чем. Безнарядная система в совхозе существует ряд лет. Однако в районе никто еще не подумал о том, чтобы по-серьезному, скрупулезно обобщить опыт этого хозяйства, показать его другим во всей полноте. Отсутствует пропаганда — нет и последователей.

В Тальменском районе можно было наблюдать и другое. Здесь, в шадринцевском колхозе «Путь Ленина» безнарядные звенья были созданы еще раньше, чем в совхозе «Сорокинский». Дела в полеводстве сразу заметно улучшились, стало больше порядка, однако через три года звенья распались. Колхоз не имел достаточного опыта, столкнулся с трудностями, тут бы управлением сельского хозяйства его поддержать, но этого не произошло, а председателю даже было сказано: зачем брались-де!

Закljučая эту главу, хочется еще и еще раз повторить: резервы хлебного поля восточных районов края таковы, что при вдумчивом, творческом подходе к нему, умелом хозяйствовании можно уже не через несколько лет, а сегодня значительно увеличить сборы зерна.

II.

Кому не приходилось наблюдать обычную сцену в хлебном магазине:

— А черного что, опять нет?

— Был, но сразу разобрали!

Да, темные булочки не залеживаются на полках. Тому, кто хоть раз отведал настоящего ржаного хлеба, захочется еще и еще. Белый никогда не заменит его. Я хорошо помню, как до войны, да и после нее, в сибирских селах пекли преимущественно ржапой, черный хлеб. И даже когда на трудодни выдавали пшеницу, и в достаточном количестве, все равно, белые караваи на столе появлялись, пожалуй, лишь по воскресеньям да по праздникам.

Ржаной хлеб — это, как бы сказать, рабочий хлеб. Врачи-диетологи, к примеру, настоятельно советуют по крайней мере половину того количества хлеба, что мы съедаем, употреблять черного.

Рожь — культура очень старинная. Без нее крестьянин, собственно, не мыслил своего существования. Из нее он пек не только хлеб, но варил кисели, домашнее пиво, даже лечился.

Называли рожь и страховым хлебом. Пшеница не уродится, рожь — всегда. Что привлекало в ней? Рожь отлично использует осеннюю влагу, еще лучше — весеннюю, так как самая первая — ее. Она неплохо переносит засуху. Да и вообще культура малотребовательная, умеющая приспособиться почти к любым условиям.

Мне по этому поводу говорил один знакомый агроном, человек иронического склада ума, но в то же время большой приверженец ржи:

— Вот культура! Уж что только с ней ни делаем: паровых земель лишаем — растет, семена какие попали бросаем — не гnevается...

К этим словам мы еще вернемся. А теперь продолжим рассказ. Рожь издавна привлекала хлеборобов и тем, что поспевала раньше яровых. Если брать районы, о которых идет речь, то уже в конце июля рожь обычно косят. И пока идет ее уборка, начинают подходить другие культуры.

Я уже упоминал, что рожь неприхотлива. Зато она, как, пожалуй, никакая другая культура, отзывчива на благоприятные условия, на добрый уход. В хорошие годы эта культура дает прямо-таки невиданные урожаи.

Лет семь назад вместе с бывшим директором совхоза «Сорокинский» Петром Гавриловичем Бердниковым мы поехали посмотреть, как идет уборка ржи в Заринском отделении. Еще издали увидели группу комбайнов. Но как я ни приглядывался, а движения не замечал.

— Стоят, что ли?

Бердников усмехнулся:

— Вначале я тоже так думал!

Комбайны работали, и когда мы подъехали к ним, то убедились в этом. Другое дело — они убрали рожь на самом тихом ходу, какой только возможен. Рожь стояла такая густая и высокая, что невольно напрашивалось сравнение с зарослями. Петр Гаврилович уж на что мужчина рослый, за костюмами специально ездит в Москву, в магазин «Богатырь», но вот зашел в рожь и... исчез, только макушки головы кое-где показывались.

Сколько же намолачивали комбайнеры с гектара? Взвешивание показывало — более 40 центнеров. Свыше трех бункеров на гектаре! Мы подошли к копнам, посмотрели мякину. Зерно еще оставалось и здесь. Ни молотилка, ни решетка не справлялись с такой нагрузкой, да и не были, собственно, на нее рассчитаны.

В тот год совхоз половину государственного плана, что-то около 50 тысяч центнеров, сдал рожью.

Да что совхоз — Кытмановский район целиком в удачные годы доставляет на элеватор не одну сотню тысяч центнеров ржи.

Внедливый читатель обязательно спросит: ну хорошо, рожь — добрая культура. Но почему тогда сокращаются ее площади, мелеет поток зерна, а в итоге в магазинах хлеба порой не купишь? Он прав, этот читатель. Когда-то в восточных районах края под рожью было занято 60—70 тысяч гектаров, потом стало 55... 50... 45. Сейчас под озимыми, вместе с пшеницей, но ее немного, — 40 тысяч гектаров. Без малого почти вдвое сократился ржаной клин.

Что это — нужды производства? Да нет, другое. Некоторые специалисты, например, считают, что оптимальный вариант для востока — третью часть зерновых занимать рожью, или чуть меньше, но во всяком случае где-то в пределах 80—90 тысяч гектаров. При урожае в 25—30 центнеров государство будет получать до двух и более миллионов центнеров ржи.

Теперь посмотрим — почему же рожь плохо «идет»? Агрономы в первую очередь приводят такие доводы. Для высоких-де урожаев ржи нужно обязательно паровать поля. И получается, что земля лишь во второй год дает зерно. И если урожаи в 25 центнеров разбросать на два года, то получится всего ничего — по 12 центнеров. Так стоит ли овчинка выделки? Пшеницы можно получать в любой год столько же, но она ведь гораздо дороже.

Что на это сказать? В совхозе «Большевик» Залесовского района, в уже знакомом «Чумышском», да и в ряде других хозяйств, давно научились выращивать добрую рожь по занятому пару. Вот вам и пример эффективного использования земли.

Дело, видимо, в другом, и об этом нужно говорить открыто — в обеспечении высокого агротехнического фона, а он-то как раз и страдает. Помните слова ироничного агронома? В них — горькая правда.

В августе семьдесят седьмого года во время сева ржи я побывал в нескольких хозяйствах Кытмановского и Сорокинского районов. Лишь в двух из них и лишь часть площадей засеивалась семенами переходящего фона, все остальные — свежим, только что намолоченным зерном. Одно это, как утверждают семеноводы, снижает урожайность на несколько центнеров.

Далее, из восьми колхозов и совхозов, взятых на контроль, в пяти сев озимой ржи не уложился в оптимальные сроки, а в трех растянулся чуть не до сентября. О хорошем урожае в этом случае и речи уже не может быть: растения до зимы не успеют окрепнуть, хорошо раскуститься. Именно такие и вымерзают весной в первую очередь.

Мне могут сказать, что я ломлюсь в открытую дверь. Кто, мол, не знает, что высокая агротехника обеспечивает и высокие урожаи. Да, знают. Но почему в одном хозяйстве ранней весной, еще по снегу, и подкормка ржи организована, и затем боронование ее, а в другом — нет? Почему один агроном выбирает для ржи защищенные участки, сеет ее по лучшим предшественникам, а другой — как бог на душу положит?

Пусть не обвинят меня в сгущении красок. Факт остается фактом — рожь стала золушкой и на расширение ее посевов колхозы и совхозы идут неохотно.

Играют свою роль, конечно, и некоторые другие факторы. Возьмем уборку. Средние урожаи зерна механизаторы убирают без особого труда. Но когда гектар дает по 25—30 и больше центнеров зерна, при полутораметровом стеблестое, — это проблема. Комбайны плохо справляются с большой массой, то и дело «летят» узлы. Выходит, нужна или особая техника, или такие приспособления к действующей, ка-

кие позволяли бы с высоким качеством убирать рожь. Этот вопрос следует адресовать конструкторам сельскохозяйственных машин, он, кстати, поднимается далеко не впервые, но пока далек от разрешения.

Теперь — семеноводство. Колхозам и совхозам как воздух необходимы высокоурожайные сорта ржи, более зимостойкие и с меньшим стеблестоем. Нужны также рекомендации по повышению качества зерна, увеличению в нем содержания белка. Практика, например, показывает, что даже простое применение азотных удобрений увеличивает содержание белка на несколько процентов. И тут слово за учеными нашего края. Я не помню, к примеру, чтобы по ржи проводилась когда-либо специальная научная конференция.

В заключение сообщу и отрадный факт. В Сорокинском районе наметилась тенденция к расширению площади озимого клевера. Если в 1976 году колхозы и совхозы засевали рожью 6700 гектаров, то в 1977 году посеяли ее 10,5 тысячи гектаров. Прирост солидный. И дело теперь за правильной агротехникой выращивания.

Вывод один: рожь — хороший резерв увеличения валовых сборов зерна и его нужно всемерно использовать.

III

Мне дважды выпадало счастье встречаться с Терентием Семеновичем Мальцевым. В первый раз, когда его имя только-только становилось широко известным, и во второй, когда он был в зените славы и в прессе его называли не иначе, как курганским чародеем, законодателем урожая...

А я запомнил спокойного, рассудительного человека, по-крестьянски простого, которого и хотелось назвать просто, пользуясь старым русским словом — радетель земли. Он как-то даже стеснялся своей славы, а еще боялся, что накопленный им опыт будут бездумно переносить в разные условия. В каждом своем докладе, выступлении Мальцев подчеркивал: «Надо думать, самим думать, жить собственным умом. Мой опыт — только указатель пути, вежа...»

Однажды после официального доклада Терентий Семенович вышел из здания в сад, присел на скамью. Стояла теплая погода. Мальцева сразу окружили участники совещания, мы, журналисты. Со всех сторон сыпались вопросы. А он добродушно и чуть хитровато улыбался, охотно отвечал, сам спрашивал. Суждения Мальцева, даже когда он говорил о понятиях специальных, легко доходили и до непосвященных, так он умел объяснять.

— Представьте себе огромный глобус... — Мне и сейчас слышится мягкий говорок Терентия Семеновича: — Мысленно обклейте его тончайшей, какая есть, папиросной бумагой. Это и будет плодородный слой земли, который питает человека. Гумус. Живая земля. Ее нужно беречь как зеницу ока. Более трехсот лет затрачивает природа для того, чтобы восстановить верхний пахотный слой всего в два-три с половиной сантиметра.

Это было зримо и очень понятно. Действительно, что стоит порвать тончайшую бумагу? И тогда — пустыня, бесплодие?

Слова Мальцева вспомнились особенно ярко, когда спустя несколько лет мне довелось побывать в колхозе «Красный партизан» Сорокинского района. Вместе с главным агрономом Столяровым мы ездили по полям и под конец завернули на небольшой массив, расположенный на пологом склоне холма. Сразу обратила на себя внимание какая-то серость, пустыньность. На других полях шло буйное цветение,

а здесь, чуть поднявшись от земли, никла редкая и чахлая растительность.

— Пропало поле! — вздохнул Столяров.

Мы спустились в низину. Тут было сыровато. Чуть не в рост вымахал бурьян. Агроном наклонился и поднял полную пригоршню черной, жирной земли:

— Вот он где — гумус! Смело его тальми водами, ливнями. Но мы начинаем бороться с этим злом.

Я уже знал, что в хозяйстве проводил некоторые наблюдения Белорусский научно-исследовательский институт почвоведения. Оказалось, что за десять лет пахотный горизонт в среднем на всей площади уменьшился на два сантиметра, а по темно-серым лесным почвам и еще больше.

Такую же картину, даже без специальных исследований, можно наблюдать и во многих других хозяйствах восточных районов. Враг номер один здесь — водная эрозия. Она, словно рак, разъедает почву. Вот — цветущее поле. Ковром зеленеют всходы пшеницы. И вдруг сильный ливень. Извилистыми трещинками пролегли по полю бороздки. Сначала неглубокие, но с каждым дождем углубляющиеся и расширяющиеся. Это — миниовраги. Не принять мер, и уже через несколько лет поле совсем пропадет или истечет гумусом.

Восточные районы, особенно Тогульский, значительная часть Кытмановского, Сорокинского расположены в предгорьях Салаирского кряжа. Куда ни глянешь — лога, гривы, увалы. Южные комбайнеры, когда приезжают на помощь в уборке, хватаются за голову:

— Как вы тут работаете, ведь перевернуться дважды два?

Сильно крутых склонов, конечно, немного и их предпочитают засеивать чаще всего травами или пускать под выпаса, но вообще склоновые земли в названной группе районов — многие тысячи гектаров. Им нужна особая система обработки почвы, своя агротехника.

Теперь как раз и вернемся к «Красному партизану». Колхоз этот раньше других понял грозящие ему опасности, установил связь с АНИИЗиСом и с его помощью разработал обширный, на годы, план противоэрозийных мероприятий.

На сильно эродированных почвах колхозники стали вводить, и к настоящему времени в основном его освоили, специальный почвозащитный севооборот с полями многолетних трав. На землях, подверженных эрозии в слабой и средней степенях, — севообороты с обязательным паровым полем. Все это несколько, к слову, не ущемляло зернового хозяйства. Под яровыми и рожью по-прежнему находилось и находится около 70 процентов пашни.

Основа основ колхозного плана борьбы с водной эрозией — защитные агромероприятия. Это и зяблевая пахота поперек склонов, и лункование, и щелевание почвы, и ступенчатая пахота, и обвалование полей... Еще добавим защитное лесоразведение, вывозку на поля возрастающее год от года количество перегноя, минеральных удобрений, и тогда картина станет полной.

Борьба с эрозией почв ведется и в других хозяйствах восточных районов. Нельзя назвать ни одного совхоза или колхоза, где бы относились равнодушно к такому бедствию. Но вместе с тем надо решительно отметить, что эффективность этой борьбы, если брать ее в целом, а не рассматривать успехи отдельных хозяйств, желает оставлять много лучшего.

Колхозам и совхозам восточных районов нужна противоэрозийная техника, а ее до обидного мало. Сплошь и рядом нет лункообразователей, щелевателей, многих других орудий.

Требуется тщательное обследование всех земель, подверженных эрозии, и разработка научных рекомендаций и рабочих планов, главной целью которых было бы эффективное использование и повышение плодородия каждого поля. Эту работу, на мой взгляд, вполне могут провести специалисты районного звена совместно с агрономическими службами колхозов и совхозов, и, конечно, при помощи и поддержке ученых-аграрников края.

В ноябре 1976 года знатные хлеборобы Алтая, делегаты XXV съезда КПСС, в своем обращении ко всем труженикам сельского хозяйства Алтая, в частности, писали: «В большинстве хозяйств центральных и восточных районов освоение комплекса по борьбе с засухой и эрозией почв еще не стало главной задачей партийных организаций, руководителей и специалистов».

Вот в чем еще корень бед! И краевой комитет партии, одобряя обращение, настоятельно подчеркнул важность борьбы с ветровой и водной эрозией, особенно в восточных и предгорных районах.

Мне недавно попала в глаза Красная книга, изданная у нас, в Советском Союзе. В ней шла речь о редких и исчезающих видах диких животных и птиц... Книга потому и называлась красной, что это — цвет опасности. Нужно, пока не поздно, защитить, уберечь исчезающих представителей животного мира.

Работая над этим очерком, я подумал, а почему бы своего рода Красные книги или, что, может, вернее, Красные карты, не иметь в районных комитетах партии, в управлениях сельского хозяйства, да и в каждом колхозе, совхозе. ...Красным тревожным цветом на них были бы отмечены поля, подвергающиеся эрозии, снижающие плодородие. Смотрите, люди, и спешите защитить землю!

IV

В начале очерка я называл фамилию Леонида Александровича Каткова. Вернусь к нему еще раз. Сколько бы мы с ним ни ездили по полям, но каждый раз, пусть ненадолго, он заворачивал на поля центрального отделения, где недалеко от тока располагались небольшие участки земли, утыканые столбиками с дощечками.

Это была святая святых главного агронома — его творческая лаборатория. Здесь он производил опыты с новыми сортами культур, с семенами, удобрениями, нормами высева... Многие отсюда уходило потом на большие поля, получало путевку в жизнь, кое-что отбрасывалось, а на освободившихся местах закладывались очередные эксперименты.

Я как сейчас вижу Каткова, склонившимся на каком-то участке. Он, если можно так сказать, буквально вынюхивал каждый росточек, дышал над ним, как мать над ребенком. Это его фигура с зеленым росточком в руках с тех пор неизменно ассоциируется у меня со словом хлеб. Ведь сколько требуется труда, подчеркну, творческого труда, чтобы из хрупкого стебелька получить полновесный колос.

Таких, как Катков, людей, влюбленных в свой труд, в землю, в наш край, а в том числе и в районах, о которых идет речь, немало и, что особенно отрадно, с каждым годом становится больше и больше.

Пять лет тому назад Центральный Комитет КПСС принял постановление «О работе Алтайского крайкома КПСС по повышению роли специалистов в развитии колхозного и совхозного производства». В нем особо подчеркивалась необходимость именно творческого подхода к решению вопросов повышения эффективности использования земли, быстрей-

шего освоения прогрессивных технологий, внедрения достижений науки и передового опыта.

Это постановление сыграло и играет большую роль в жизни краевой партийной организации, оно помогло устранить многие недостатки в работе со специалистами, лучше сосредоточить их внимание на повышении культуры земледелия и животноводства. Сотни и тысячи специалистов сельского хозяйства стали работать по личным творческим планам, вносить еще лучший вклад в дело увеличения производства зерна и другой продукции.

Об одном из таких специалистов, коммунисте Михаиле Федоровиче Городилове, я хочу немного рассказать.

Я беру здесь те годы, когда Городилов работал в Алтайском отделении совхоза «Тогульский».

...Обширное поле должно было вот-вот зазеленеть, Михаил Федорович наклонился, внимательно присмотрелся. Да-да, вот тут и там пшеница уже чуть-чуть высунула свои шильца. Агроном осторожно ребром ладони сгреб небольшой слой земли. Шильца теперь виделись отчетливо. Но что это вокруг? Слово портновскими стежками, земля в разных направлениях прошита белыми нитками: сорняки!

Порядочно же их тут! А ведь за это поле, как ни за какое другое, Михаил Федорович был спокоен. Управляющий заблаговременно рассказал ему, что здесь самый засоренный участок. Учитывая это, Городилов оттянул на сколько мог сев. И когда на поле густо высыпали сорняки, он пустил бороны. Верно, сроки сева были уже критическими, но сеялась пшеница раннеспелая и должна была вызреть.

Теперь же выходило, что и сорняки выработали свою тактику, в два эшелона пошли. Что же противопоставить второй атаке? И тут вспомнился старичок-преподаватель из сельскохозяйственной школы по подготовке председателей колхозов. Помнится, он рассказывал о чем-то аналогичном. Ага, вот: слепое боронование! Но преподаватель говорил о довсходовом бороновании, тут же появились всходы. Выходит, по живому? А какая, собственно, разница? Семена заделаны глубже, чем пойдут бороны, им ничего не делается. А вот белые нитки бороны должны погубить.

Управляющий хмуро слушал своего агронома. Потом сказал: «Смотри, Михаил Федорович, на твою ответственность!»

Городилов сам подобрал смышленного тракториста. Дотошно объяснил что к чему. Вдвоем наладили и отрегулировали сцепку. Агрегат медленно тронулся по полю. На первом же десятке метров Городилов не вытерпел, опустился прямо на колени, разровнял землю. Где же шильца? Ага, вот, вот, вот... Все на месте. А белые стежки? Их нет!

Через несколько дней Городилов вновь приехал на этот участок. Теперь он густо покрылся пшеничными всходами. Разрыл одну бороздку, другую... Интересно! Многие растения дали как бы вторую корневую систему. Видать, бороны расшевелили ростки, и они, чтобы выжить, постарались укорениться покрепче. А раз так, то и площадь питания у них теперь больше.

Осенью «крестное» поле дало по 30 центнеров зерна с гектара. Такого еще не бывало. И люди безоговорочно уверовали в нового агронома. Хотя, если по правде сказать, встретили его сначала не с распростертыми объятиями.

И вот — получилось! Озорные девчата в осенний праздник урожая даже частушку пересочинили: «Не нужны нам дождь и гром, выручает агроном!» А вот механизаторы вскоре прозвали Городилова «свеком». Он вьедливо придирался ко всем видам обра-

боток. Требовал неукоснительного соблюдения агроправил. Браковал бесплощадно. Организовал ежегодные приемки посевов по всходам, чего сроду не было. Установил по договоренности с управляющим доплату трактористам и сеяльщикам за отличную работу.

Однако спустя немного слово «свекор» (Городилов знал об этом прозвище и нисколько не обижался) стало звучать ласковее и затем совсем уважительно: «Наш-то свекор, молодец мужик!» Трудно было не увидеть, что агроном по-настоящему заботится об урожае. Механизаторы же сами были хлеборобами, хорошо понимали пользу делу.

А Городилов, почувствовав свою силу, стал действовать еще смелее. Вместе с управляющим, который теперь готов был поддержать любое его начинание, первым в совхозе, да и во всем Тогульском районе, взял курс на безотвальную обработку почвы. В отделении было много склоновых земель, и именно такая обработка давно им была нужна. Начали с двухсот гектаров, потом больше и больше.

Первым в районе Городилов стал применять и внекорневую подкормку зерновых и кукурузы ГАНами. Удобрения вносили и с семенами. Михаил Федорович потом смеялся: «Тогда хорошо было, привезет совхоз удобрения, все от них отказываются — неохота возиться, ну а я их к себе и забирал!»

Через два-три года, к удивлению соседей, Алтайское отделение быстро пошло в гору. Управляющие, а особенно агрономы, чаще и чаще стали находить заделку, чтобы побывать в Алтайском, а на самом деле посмотреть: на каких это дрожжах оно поднимается? И почти все прямо оттуда ехали в совхозную контору: «Почему удобрения в Алтайское да в Алтайское? Теперь и мы будем получать!»

«Агроному надо быть самостоятельным, твердым. Видишь свою правоту — действуй смело и до конца!» Это один из многих принципов Михаила Федоровича. Был такой случай. Стали косить в валки пшеницу. Вдруг из совхоза команда: хватит валить, все комбайны напрямую! А как напрямую, если в пшенице немало зелени и потери будут боль-

шими? Городилов махнул комбайнерам: продолжайте! Свалили всю полосу и выиграли: по 22 центнера чистого зерна взяли!

«Надо постоянно фантазировать!» — это из выступления Городилова на совещании агрономов. У него фантазировать — значит, думать, искать, добиваться. Однажды во время весеннего сева вышел из строя трактор, что прикатывал почву. Тракторист «успокоил»: за сутки отремонтирую! А что значит сутки, сколько влаги при этом уйдет? «Фантазия» тут же подсказала выход. Городилов распорядился напилить деревянные катки — небольшие бревешки, соединить их по три и прицепить прямо за сеялками.

Теперь это — обязательный агроприем: деревянные катки или шлейфы в агрегате с сеялками, а потом уже самостоятельное прикатывание кольчатymi катками. Тут уж влага, словно на сберкнижке. Обязательным приемом стало и слепое боронование на подверженных засоренности полях.

Городилов всегда о чем-то думает, ищет. В его творческом плане столько вопросов, что их хватило бы, наверное, на целую агрономическую группу. Влияет ли и как на качество зерна, в частности, на содержание в нем клейковины, различная обработка почвы? Полезно ли все время пахать зябь без отвалов или нужно хотя бы раз в 4—5 лет переворачивать верхний слой?

Вот таков он, современный специалист, коммунист Городилов — всегда в творческом поиске. Он остался верен себе и на посту главного агронома районного сельхозуправления. Не зарылся в бумаги, нет. Его поле сейчас большое, на тысячи и тысячи гектаров. Но и помощников, конечно, много. Их он учит, передает свой богатый опыт.

Я согласен, нельзя, да и невозможно требовать, чтобы все агрономы были в точности такими, как Катков, Городилов... В любом деле есть люди талантливые, есть хорошие мастера, наконец просто добросовестные работники. Но поиск, творческая струнка должны быть у каждого. Без этого не будет хорошего хлеба, высоких результатов.

ИЗ МАЛОИЗВЕСТНЫХ РАССКАЗОВ Н. М. ЯДРИНЦЕВА

В октябре 1977 года исполнилось 125 лет со дня рождения «сибирского патриота» Николая Михайловича Ядринцева. В Сибири эта дата не может быть не отмеченной.

О Ядринцеве, ученом и общественном деятеле, существует большая литература. О Ядринцеве-писателе лишь в последнее время стали появляться интересные работы, свидетельствующие, что мы имеем дело с незаурядным явлением русской культуры и литературы. Это заметили уже современники писателя — Н. К. Михайловский, Г. И. Успенский, М. Е. Салтыков-Щедрин. В 1895 году М. Горький написал небольшую рецензию на книгу Б. Глинского о Ядринцеве. В ней он сказал:

«Жизнь таких крупных провинциальных деятелей, как Н. М. Ядринцев и А. С. Гачисский, является в высокой степени интересной и поучительной для русской интеллигенции. Чем шире, глубже и ярче освещается деятельность этих лиц, тем, конечно, полезней и ценней труд, посвященный их памяти... Данный очерк прочтется с большим интересом всяким, кому дорога память о бескорыстном и светлом деятеле далекой Сибири, рыцарски честно работавшим всю свою жизнь для суровой родины. И этот очерк имеет тем более глубокое значение, что в данное время — как нельзя более своевременны и нужны... напоминания о таких цельных, ясных и глубоко веровавших в будущее людях, как покойный Николай Михайлович» («Самарская газета», 1895. № 54 от 10 марта).

В кратком вступительном слове к публикуемым произведениям, затерявшимся в газетно-журнальной периодике, нет возможности остановиться на характеристике всего созданного Н. М. Ядринцевым-писателем. Мы коснемся лишь самого начала его пути, имеющего принципиальное значение для формирования мировоззрения и литературного направления писателя, и, пожалуй, самого конца его деятельности, который свидетельствует, что он не отступил от идей юности, остался человеком, которого мы вправе назвать шестидесятником.

До ареста в мае 1865 года Н. М. Ядринцев успел написать и напечатать немного — три фельетона для знаменитой «Искры» В. С. Курочкина да несколько публицистических статей в «Томских губернских ведомостях». Все они показательны для формирования общественно-политических и эстетических воззрений начинающего писателя и ученого.

Очувившись в конце августа 1860 года в Петербурге, восемнадцатилетний Ядринцев со всем пылом юности окунается в напряженную идейную жизнь столицы в период зреющей день ото дня революционной ситуации в России. Наряду с «полным» Белинским, издаваемым в России, он приобретает «полного» Герцена, вышедшего в Лондоне, читает «Колокол», следит за «Современником», где, по его определению, «статьи Чернышевского превосходны», знакомится с людьми, имена которых адресат — Н. С. Щукин-младший — предусмотрительно вычеркивает после получения письма из Петербурга. Ядринцев не только взволнован, захвачен тем, что происходит в родной стране, он с жадным интересом следит и за тем, что творится во всем мире. Характерно, что в самый канун освобождения крестьян, в октябре 1860 года, Ядринцев полон неверия в способность царя и помещиков дать крестьянам волю, а стране — конституцию.

«Носятся слухи, — пишет он Н. С. Щукину, — что крестьянский вопрос он хочет к новому году закончить. Говорят о конституции, будто бы сочиняют в сенате. Но думаю, что это так же избыточно и верно, как скорбь по умершей Александре Федоровне в России» (ГАО, ф. 3, от. 15, д. 18747).

Речь идет непосредственно о царе и его матери, известной своим мотовством, а фразы из письма так и просятся в памфлет для «Колокола» и явно им и «Современником» навеяны.

В самом начале 1861 года Н. М. Ядринцев пишет свой первый памфлет «Петербург в его прелестях», так и не увидевший тогда света, потому что события после 19 февраля 1861 года захлестнули всех и потребовали других слов и действий. Но сам по себе этот памфлет, счастливо сохранившийся в бумагах писателя, показателен и может быть поставлен в ряд произведений революционно-демократической литературы, представляемой «Современником» и «Искрой».

Автор памфлета обращает внимание прежде всего на ужасающие его социальные контрасты города — с одной стороны, богачи, живущие в роскошных особняках



и дворцах, с другой — «десятки тысяч работников с своих душных фабрик»; первые говорят не по-русски, чтоб не походить на своих лакеев, бездельничают, развратничают и мечтают о наградах; вторые работают и голодают. Далее Ядринцев создает тип современного ему прожигателя жизни, петербургского денди, опустившегося до последней черты нравственного падения. Перечисляя все то, к чему равнодушен его журирующий герой, Ядринцев тем самым свидетельствует, как потрясен он и люди, ему подобные, событиями мировой политики: стонет Италия под австрийским сапогом, трепещет француз перед наполеоновскими лакеями, умирает Мексика под французскими штыками, обливается реками крови далекая земля Америки, где идет борьба за уничтожение рабства. Здесь все звучит остро и актуально. Юноша, несомненно, владел пером публициста-памфлетиста. Это скоро заметил В. С. Курочкин, и Ядринцев в 1862 году пишет, а в 1863 году выступает с боевыми зло-сатирическими фельетонами в «Искре»: «Наша любовь к народу», «Россиянин на пути к прогрессу», «Козни злонамеренных».

Прежде всего, естественно, речь заходит о крестьянстве, о его новом положении и состоянии, об отношении к нему различных слоев русского общества, особенно так называемых «народных» органов печати. Первый фельетон Ядринцева в «Искре», печатавшийся с января 1863 года в нескольких номерах, так и назывался «Наша любовь к народу» и имел эпиграф, взятый из журнала «Народная беседа»: «Ближайшие народу деятели суть чиновники, мещане, хозяева (?) и в особенности семейства сельских священников». К слову «хозяева» поставлен вопрос, то есть сразу берется под сомнение официально-уголовническое суждение «Народной беседы» на этот счет: «А может ли помещик-хозяин быть ближайшим народу деятелем?» В соответствии с этим сомнением и строится весь фельетон, который начинается так:

«У нас развилась необыкновенно сильная любовь к народу: все идут за народ, все делают во имя народа. Наша журналистика в этом случае представляет самое умиленное зрелище. Посмотрите, как горяча, как бескорытна эта любовь, начиная с Виктора Ипатьевича Аскоченского и Каткова до Льва Камбека и журнала «Время». Одни гонят прогресс во имя народа, другие требуют английских реформ, уверяя, что это угодно народу и что он не послушает как этих, так и тех... Третьи пишут ерунду или кричат: «От почвы оторвались, народности держитесь, народности!» Четвертые вдруг провозглашают, что народ требует, чтобы его секли, пятые еще что-нибудь... Таким образом, все мешается, видна только общая любовь к народу. Ну не умиленно ли это зрелище?!»

Далее идет убийственно-издевательская критика «Народной беседы» и ее наставлений народу, составленных из прописных истин: не дерись, не воруй, не пьянствуй... В преамбуле названы наиболее одиозные имена ревнителей «нового курса» правительства, нацеленного на разгром революционно-демократического движения. Журнал братьев Достоевских «Время» тоже упомянут, потому что в нем участвовали прямые нападки на позицию «Современника», особенно в статьях Н. Страхова. Блестящий фельетон «Козни злонамеренных», появившийся в апреле 1863 года, примечателен не только своим остроумием, неподдельным юмором, но и обобщением определенных явлений в жизни, созданием сатирического образа «благонамеренного», которых вскоре займет заметное место в охранительной беллетристике. К благонамеренным причислены теперь и сотрудники «Времени» — Н. Страхов, выступавший под псевдонимом Косица, И. Долгомостьев, писавший под именем Игдев. Они начали поход против «старого» «Совре-

менника», руководимого Н. Г. Чернышевским, и с удвоенной энергией против «нового», в котором значительную роль приобрел М. Е. Салтыков-Щедрин.

Живейший практический интерес к революционным идеям Герцена и Чернышевского, активное участие в студенческом движении в составе кружка сибирского землячества, первые творческие выступления в «Искре», в журнале революционной демократии, личное сближение с Г. Н. Потаниным, С. С. Шашковым, В. С. Курочкиным, Г. З. Елисеевым и другими прогрессивными деятелями эпохи формировали молодого Ядринцева как писателя-шестидесятника. Возвратясь осенью 1863 года в Сибирь (писатель родился в Омске, а учился в гимназии в Томске), он почувствовал себя полномочным представителем революционных сил России и этим объясняется и его убежденность, и его смелость в публичных и печатных выступлениях в Омске и Томске. Не случайно некоторые озлобившиеся на беспоконного юношу администраторы Омска называли его «прогресситом, другом Чернышевского». Если коротко охарактеризовать известные нам печатные работы 1864—1865 годов в «Томских губернских ведомостях», то следует сказать, что они наполнены жаждой решительных перемен в общественном строе страны (принципом нового будет мир, цивилизация и свобода), духом интернационализма как необходимого условия равноправия народов «быть может, скоро настанет век, «когда народы, распри позабыв, в великую семью соединятся», гордостью за русский народ, который в исторически кратчайшие сроки сумел «пройти» огромные сибирские пространства и утвердиться на них наконец верой в неосыкаемые силы народа.

Ровно десять лет провел затем Н. М. Ядринцев в тюрьме и ссылке, терпя нужду и лишения, но в неволе и потом на свободе он много работал, написал целую серию статей о положении крестьян и рабочих стран, издал несколько книг-исследований, среди которых главная — «Сибирь как колония», организовал и много лет редактировал лучшую тогда провинциальную газету «Восточное обозрение», совершил ряд путешествий, которые ознаменовались важными открытиями, но что бы он ни делал, ни на одну минуту он не оставлял пера писателя и публициста.

Творчество Ядринцева-писателя вообще автобиографично. Даже в фельетонах он нередко идет от непосредственных впечатлений. Об очерках и говорить нечего, лирика — существенный компонент их содержания, и главный герой их чаще всего сам наблюдатель. Очерк «На обетованных землях» весьма типичен для Ядринцева.

Начиная с середины восьмидесятых годов Ядринцев задумывает цикл воспоминаний о людях, с которыми он начал свою сознательную творческую жизнь. Так возникли «Сибирские литературные воспоминания». Затем он приступит к автобиографии и напечатает в 1888 году «Воспоминания о Томской гимназии». До конца жизни Ядринцев не оставит этот жанр — напишет «Детство», «К моей автобиографии», воспоминания о С. С. Шашкове, о Ф. М. Достоевском, о женах двух писателей-сибиряков — Е. П. Елисеевой и О. И. Щаповой, несколько автобиографических рассказов... Автобиография Ядринцева так и не сложилась в цельную самостоятельную книгу, но то, что создано им в этом жанре и дошло до нас, представляет не только исторический интерес, в них автор выступает как художник, создавший свой неповторимый мир, рассказавший о людях, о которых никто другой не мог рассказать с такой же правдивостью, с таким пониманием и проникновением.

Автобиография, воспоминания возникли из потребности оглянуться на пройденный путь и воскресить в душе ту веру, которая владела им в самом

начале. Ядринцев вслед за многими лучшими людьми эпохи остро ощущал историческое значение шестидесятых годов и последовавших за ними событий, которые он активно пережил как непосредственный участник борьбы.

Если объединить все мемуарные произведения Ядринцева и перечитать, то мы сразу почувствуем, что это предельно искренняя, правдивая повесть о формировании юной души, повесть о замечательных людях Сибири и Петербурга, повесть о тех обстоятельствах и условиях, которые способствовали рождению ядринцевского бунтарского характера, выработке у писателя передового мировоззрения.

«Детство» написано с подкупающей бесхитростью и простотой. О матери и отце, о своеобразном укладе семьи, о своих первых впечатлениях и переживаниях, о первых уроках в пансионе, похожем на печально знаменитую бурсу.

Мать Ядринцева из крепостных. Факт известный и в биографиях Ядринцева часто повторяемый. Однако значение его для Ядринцева мы можем постичь лишь ознакомившись с характером матери в его изображении. Крепостная Феврония Васильевна вдруг стала свободной и богатой. Она обучилась грамоте, приобрела другие, по ее понятиям, светские манеры, наняла работников и слуг, решила воспитывать своих детей, как воспитывали на ее глазах барчуков. Появились спесь, высокомерие, повышенные требования, проводимые в семье с деспотической непреклонностью. Эпизод с племянницей, выкупленной у помещика, характеризует ее как вонительницу за господствующие сословные градации. Как, моя племянница влюбилась в лакея! Виновница получила отповедь, лакей был уволен. Трагическая судьба Калмычки в семействе Ядринцевых (прекрасный рассказ «Калмычка» органично примыкает к воспоминаниям о детстве) дает ясное представление о характере матери, об укладе семьи, о средствах воспитания, наконец, о самой среде в назревающую переломную эпоху. Калмычка — автор не помнит ее настоящего имени, потому как иначе ее в доме никто не звал — была куплена у погибающих от голода родителей. Девочка была обязана помогать няньке в детской и быть на посылках всего дома, то есть выполнять самую грязную работу. Барчук, ее сверстник, подружился с Калмычкой. Он поверял ей свои ребячьи тайны, с увлечением играл, вместе с ней начал овладевать азбукой и, случалось, обижал ее, как и многие в его доме. Читая дальше этот рассказ-воспоминание, мы видим, как глубоко потрясло писателя бессмысленное насилие над девушкой, когда она подросла. Нет, потрясло совсем не тогда, когда это насилие совершалось на его глазах, а много позднее, когда осознал, насколько противоестественно и отвратительно рабство. Ядринцев беспощаден к себе и по существу говорит о своей вине перед другом детства, когда пишет: «Мне хотелось сходить на ее могилу. Но что скажут обо мне окружающие, если я пойду ее отыскивать. Я должен бояться показать ей сочувствие даже после смерти. Я, единственный друг ее, должен был скрыть свое человеческое чувство к ней».

В «Воспоминаниях о Томской гимназии» Ядринцев сурово изобразил ее учителей, повседневный быт этого учебного заведения, его нравы, методы обучения и воспитания, что в совокупности способно было лишь калечить людей. И. Кушевский, рисуя в романе «Николай Негорев» ту же Томскую гимназию, те же бурсацкие порядки, справедливо полагал, что они являются естественными слагаемыми в воспитании лицемеров, ренегатов, предателей, равнодушных ко всему, кроме собственного благополучия. Николай Негорев и назван «благополучным россиянином». Ядринцев, приступая к изображению Томской гимназии, упоминает роман И. Кушевского и сетует, что

в нем немало писательской фантазии. Однако эта «фантазия» Кушевского не менее страшна, чем неуносительная правда Ядринцева. Художественные обобщения Кушевского потрясают в такой же степени, как и очерковая деловитость Ядринцева. Вместе с тем и обобщения Ядринцева не лишены своеобразия. Так, рассказывая о злосчастной судьбе учителей гимназии, он объясняет ее «мертвым» состоянием общества. «Это были люди, — повествует Ядринцев, — из бурсы, семинарий и старых аракеевских гимназий, как били их, угощали «кокосами», так они угощали нас. Это была уже общерусская принадлежность воспитания». «Глухая жизнь», собственная натура, отягощенная лалочным воспитанием, не позволяла им подняться над обществом сибирских купцов и чиновников, даже лучшие из них опускались, спивались, попадали в дома умалишенных. С тем большим воодушевлением рассказывает Ядринцев о том, как независимо от гимназии, вопреки ей, развивалось у некоторых ее учеников стремление к знаниям, как пробуждался их ум. Тут решающим фактором было время — канун освобождения крестьян, потому дух свободы гимназия оказалась не способной заглушить. Во-вторых, Томская гимназия к тому времени была уже достаточно демократизирована — в нее все чаще и чаще попадали и дети крестьян, и дети городских мещан, которые оказывались выносливей, чем дети богачей, и находили в себе силу противостоять растлевающему гимназическому влиянию. «Демократическая среда гимназии воспитывала равенство, — добавит к этому Ядринцев. — Эти инстинкты равенства, наложенные школой, это уважение к честной бедности и поклонение труду и таланту, откуда бы он ни выходил, облегчали восприятие общечеловеческого идеала». Наконец, в общество пришли живые носители освободительных идей, как Н. С. Щукин в Томске, и на столе у гимназиста вместо опустылевших учебников появляются новые книги и журналы, передовая литература эпохи. Так, о каком бы периоде жизни ни говорил Ядринцев в своих воспоминаниях, он создает образ времени, рисует портреты чем-то примечательных людей, позволяет понять, как и каким образом воспитывалось поколение шестидесятников — борцов за лучшее будущее русского народа. Однако здесь же Ядринцев скажет и о другой стороне его жизни, именно о той, которая все в ней окрасит в трагические тона. «На нашу долю, — обобщает Ядринцев, — выпало испытать и порывы восторга, и мрачную бездну разочарования: темная ночь часто окружала наше существование и мировая скорбь, и бесильная тоска за будущее грызли нашу душу. Нужны были великие силы перенести это. Великие страсти и разочарования выпали на долю нашего несчастного поколения. Тяжелая историческая эпоха выпала на долю нашего существования».

Это было справедливо и нашло свое отражение в творчестве писателя. В 1904 году Т. М. Фарафонов, публикуя неизвестный до того рассказ Ядринцева, условно назвала его «Люди шестидесятых годов» и отнесла его к 1889 году. Рассказ этот, по всей вероятности, не окончен и изображается в нем скорее люди конца восьмидесятых годов. Их поразила смерть «последнего столпа своего поколения» М. Е. Салтыкова-Щедрина.

Василий Иванович, обеспеченный человек, балующийся литературой, рисуется явно в сатирическом плане. Его постоянные завсегдатаи в доме изображены с достаточной долей иронии: «молодой беллетрист, выступавший с романами газетного свойства», седенький библиограф, всегда готовый выдать справку о любом писателе, какие-то неведомые студент и юнкер, наконец, «чужак и старый знакомый хозяина» Максим Максимович, любивший ораторствовать. Сло-

вом, эти люди, хотя и жившие рядом с только что умершим писателем — некоторые из них даже лично знали его и работали с ним, — решительно помельчали, потухли, изменились. Все вместе они дают, можно сказать, пронизательную оценку великому сатирику. Однако чем выше оценивался вклад писателя в общественное богатство страны, тем убийственной звучала оценка состояния текущей жизни. Максим Максимович с воодушевлением начал вспоминать то главное благословенное время, когда «всякий чувствовал какое-то торжественное, блаженное настроение», — и вдруг осекся: «После этого-то времени, кто ожидал, что совершится фокус: белое станет черным, а черное белым, что вылезут все эти тенета, весь этот гад...»

Всем острием своим рассказ направлен против правительственных акций на удушение свободной мысли, и одновременно это своеобразный реквием людям конца восьмидесятых годов, реквием мрачнейший, ибо сам автор его уже теряет необходимые

идейные опоры для продолжения активной борьбы с «гадами» реакции.

Кроме всего прочего, рассказ этот свидетельствует о том, как читал Ядринцев великого сатирика. Ведь это о себе сказал Н. М. Ядринцев, когда заставил одного из героев рассказа определить место и роль М. Е. Салтыкова-Щедрина в жизни общества, в жизни каждого мыслящего человека эпохи:

«Как к мерному бою часов, мы привыкли прислушиваться к звуку этого голоса в каждую нужную минуту, голосу, звучащему подобно трубе в час общественного суда».

Мы коснулись только некоторых сторон деятельности Ядринцева-писателя, чтобы как-то пояснить предложенную читателю публикацию его по существу забытых произведений. Ближайшая задача сибирского литературоведения — создать его полный «литературный портрет», определить его место в развитии русской литературы, его значение в развитии культуры и литературы в Сибири.

Н. М. ЯДРИНЦЕВ

На обетованных землях

(ИЗ ПУТЕШЕСТВИЙ ПО АЛТАЮ)

Там, где кончаются бесконечные леса и поднимаются высоко-высоко скалистые горы, где бурно бушуют горные реки и потоки, с белой пеной прыгая по камням, где простерлась неведомая никому пустыня, где-то там, в непроходимых дебрях, лежит загадочная земля, называемая Беловодье. Не знает этого места никто, не заезжает сюда заседатель, а между тем зашли как-то сюда русские люди и живут привольно. Много земли у них и угодьев, и нет здесь тягостей и тяжкого крестьянского горя. Есть здесь храмы, и звон колоколов будит звуками пустыню. Никто не знает Беловодье, знает его только раскольник и русский крестьянин, прокраившийся в него. Это миф о Беловодье, распространенный в южной Сибири, двинул русскую колонизацию к китайским границам.

Мы видим деревни и скромных крестьян у подножия снежных Альп, где крестьянство часто надевает на себя ткани китайского шелка, вымениваемое на границе. Кругом дикая природа, киргизы, китайцы и тут же русская деревня, русский говор, русская песня, русский хоровод. Но не ограничались этой гранью русские селения. Нет-нет да и начнется попытка отыскать завет-

ное Беловодье. Попадали русские крестьяне в бухтарминские и китайские города и были оттуда возвращаемы, бывали на озере Куку-норе, все отыскивая свое Беловодье. А есть ли такое Беловодье — бог весть. Тихо, медленно тянутся до последнего времени обозы переселенцев или новоселов, таинственно, скромно пробираются они мимо больших дорог в глубь Алтая, где встречает их и приковывает этот миф о каких-то заповедных землях, о какой-то мифической стране, и они плетутся все вдаль да вдаль...

А, кажись, везде мест довольно, и какие места!

Когда мы въехали в северные предгорья Алтая, в долины рек Песчаной, Каменки и Ануя, мы поражены были красотой мест, обилием лугов и роскошью растительности. Перед началом предгорья раскинулись, точно малороссийские степи, покрытые душистыми травами, цветами с выступавшими по местам перелесками. Когда мы любовались этой степью перед закатом солнца, мы видели вдали горы, подергивавшиеся как бы легким туманом, голубую дымкою самой нежной вуали, а над нами алела легкая розоватость неба. Бесконечно зеленая равнина, клумбы березовых рощ с душистыми

пасеками, бесчисленные стада, как точки, усеяли степь. Скрывавшееся солнце с золотым бордюром заполнило эту картину. Трудно передать то обаяние, какое производит эта даль, этот воздух. Когда спустилась ночь, горы как бы ушли вдаль. Долина наполнилась ароматом трав, а наверху зажглись серебристые звезды, яркие и большие, благодаря чистоте и прозрачности горного воздуха. Когда в горах нас заставляла ночь, грозные профили гор с лиственницами смотрели на нас угрюмо и таинственно.

Лиственницы выступали гигантами, цеплявшимися за нас руками. Иногда на небе сгущались тучи и только кое-где мелькали просветы, небо составляло контраст с темной долиной, в которую мы спускались. Вот тучи схватили небо, стало еще темнее, мы совершенно погрузились в темную бездну. Совсем беспросветная тьма окружила нас. Лошади плелись уныло, звякая колокольчиками. Один ямщик направлялся куда-то... Вдруг среди этой томящей тьмы зажглись искры. Вот они растут, вот и веселый костер около деревни. Это деревня Туманово, поставленная лет десять назад переселенцами-пермяками. Через четверть часа мы были в теплой избе этих обстраивающихся колонистов.

Убаюканные поэзией ночи, мы просыпались утром под ослепительным блеском солнца.

Чем дальше мы ехали и совершали перевалы из гор в долины, картина открывалась шире. Местами среди зелени обнаруживались каменные утесы, перевитые зеленью, иногда эти утесы представляли разрушенные замки и церкви. Около них были ключи и весело журчали речушки, пробиваясь между камнями. С гор спускались лиственницы, травы были в высоту человека. Горы выступали резче и, наконец, показались «белки», горы с пятнами снега на вершине. Странно, во всех этих местах, проезжая по глухим долинам Алтая, повсюду мы встречали странников, плетущихся все вперед и вперед. Мы проехали весь Алтай, вот скоро уже снежные горы, вот поднялся неприступный хребет.

— Куда вы? — спрашивали мы странников, и получали один ответ:

— Местов искать.

Иногда встречали пионеров-пытовщиков. Они шли по постоянным подъемам и спускам, где дорога столь утомительна, что на середине дороги приходилось менять лошадей. Часто измученные, в поту, в одних белых рубахах с котомками, спускались они с гор с посохами в руках. Это были

скорее какие-то подвижники, чем искатели счастья. Но на них смотрели сплошь и рядом совсем иначе.

— Тащутся куда-то, сами не знают куда, — говорили старожилы, недовольные тем, что новоселы не сторговались с ними, а шли далее. — Черт их знает, куда лезут, — говорило начальство.

— За Чергой, сказывали, места хорошие, — говорили странники и все забирались дальше и дальше. Иногда на вопрос они торопились вытащить паспорта, робко озираясь и говоря:

— Мы по паспортам, ваше высокоблагородие! — намекая этим, что они не бродяги.

Чем дальше странники-колонисты достигали этих мест, чем больше осваивались с привольем, тем более, кажись, они становились разборчивыми: «А дальше еще лучше, а за Чергой, сказывают, хорошо». Остановиться сразу не хотелось, ибо выбор мест был большой.

Чем более они осваивались с этими местами, чем более всматривались в это приволье, тем менее им хотелось расставаться с ним. Иногда мы видели, как пораженные этим привольем, этой тучной почвой, они подолгу стояли, опершись на посохи, устремив жадные взоры на этот девственный чернозем. Они облюбовали эти места и в то же время робко осматривались. Их охватила тайная робость и страх, что вот их погонят отсюда и не дадут высмотреть то, чего они жаждут. Эта робость и боязнь, как мы заметили, не оставляла даже поселившихся и обстраивающихся.

Раз в своем исследовательском усердии, равном разве усердию цивилизованной ищейки, я натолкнулся на общество, заставившее меня серьезно задуматься. Оканчивая отъезд (приходилось уже расставаться с горами), при выезде из одной деревни я заметил, однако, за несколько верст от нее небольшую горную речку в долине, где стояли одинокие лачужки шагов пятьдесят друг от друга. Это была знакомая характерная постройка переселенца. Мне ужасно захотелось съездить к этому начинающему строиться поселку. Приказав ямщику с повозкой ехать по дороге, я имел глупость взять у него пристяжную с крестьянским седлом и поехал верхом к переселенцам-новоселам один.

Поселок стоял в стороне от дороги, окаймленной горами. Когда я на крестьянской лошаденке приехал в него, тут только понял всю странность и неожиданность моего появления в деревеньке. Из изб повы-

сыпали робкие пугливые переселенцы. Они смотрели на меня очень боязливо, как дикари. Я слез с лошади, попросил напиться и начал любопытствовать. Ответы были односложные, сухие, взгляды все подозрительнее. Вскоре все начали расходиться, и я остался только с одним переселенцем. В самом деле, что такое был в их глазах человек, прибывший к ним внезапно с видом чиновника, на худой крестьянской лошади и пытающий их? Я объяснил свой приезд тем, что я любопытствую узнать, как живут новоселы. Но это их еще больше насторожило: «Разве любопытствует кто без дела?» Ведь крестьянин не подозревает, что есть такие несчастные люди на русской земле, которые в самом деле только любопытствуют крестьянское житье, не имея возможности принести ни капли ему облегчения.

Видя пугливость этих несчастных странников, выбравших себе эти места, я не принял во внимание, что большинство их начинает обстраиваться, когда они еще не приписаны, заселение их еще не утверждено, юридическое положение непрочное, и что переживают они в эту минуту самое мучительное состояние духа. На лицах можно было прочесть чуть не страдальческое выражение при ответах. Видя холодность приема, я начал прощаться и подошел к лошади, проклиная неудачу поездки. Вдруг позади я услышал глухой грудной голос:

— Ваше благородие, зачем ты сюда приехал?

— Просто посмотреть, как вы живете и давно ли здесь. Не говорите, так бог с вами, — сказал я сухо.

— Ваше благородие, ты недаром приехал, — послышался тот же голос. Это говорил оставшийся со мной новосел. Черные глаза упорно, вызывающе смотрели на меня, а на лице было какое-то болезненное, судорожное выражение, в котором сосредоточивалось мучительное пересиленное беспокоество.

— Ничего мне от вас не надо, добрый человек, — сказал он мягче. — Успокойтесь!

Но, конечно, я не мог рассеять подозрений и тронул лошадь.

— Ты землемер! — как бы почувствовав смелость, выкрикнул новосел и побледнел от собственной дерзости, вызванной чувством опасности, как и произнесением страшного для крестьянина имени. — Ты землемер, мы знаем, — повторил он грустно, и вдруг в глазах его заблестела такая мольба, какой я в жизни не забуду: — Не

губи! Не гони нас с местов!.. — Он не упал в ноги, но стоял бледный, как подкошенный, как осужденный.

Я сошел с лошади и стал успокаивать бедных новоселов. Уверившись, что я ничего не имею против них, они рассказали мне свою горькую исповедь.

Как и все, они выбрали место на этой речке и поселились самовольно, не приписавшись к обществу, ибо с них потребовали по тридцать рублей за приемный приговор. Они развязали мошны, послали ходоков хлопотать об отводе земель: выйдет ли что — бог ведает, а пока томилась в ожидании. Соседние крестьяне им беспрестанно угрожают и обещают донести на них. Вот с чем совпал мой приезд. Я старался дать совет, обещал никому не говорить об их поселке, ободрил их, как мог, и расстался дружелюбно.

Я был глубоко потрясен их судьбою.

Вспоминаю еще одну встречу. Мы ехали в веселое и чудное утро по алтайской долине. Горные речки сверкали серебром, направо и налево выступают горы с клубящимися по ним облаками. Местами выростали причудливые утесы, обвитые зеленью. С одной стороны спускались с гор хвойные леса, гребни гор золотились лучами солнца, лучи сверкали цветами, трава была роскошная. Вот выбежал ручей. По берегам его были видны сплошные кустарники жимолости, малины и смородины, усеянные гроздьями ягод; белый жасмин, колокольчики, лилии и желтые розы — все это напоминало бухтарминскую флору сибирской Италии. Цветы становились роскошнее. Я увидел целые поля, покрытые мальвами. Это был настоящий лес цветов. Они были лиловые и белые в рост мой. Я выскочил из повозки, набрал целый пук цветов, образовав чудовищный букет, уселся с ним и смотрел в сияющую даль гор. Солнце сияло так ослепительно, все было такое праздничное! Никогда, моя родина, я не видел тебя более красивой! Я увидел тебя здесь весенней красавицей, украшенной мальвами, дикими розами, пионами, лилиями, я видел тебя с красотой твоих утопающих вдали гор, с богатством цветущих долин. Здесь ли, кажись, не воспользоваться твоими благами, девственная земля, здесь ли не создать счастья?! И вот в такой-то долине, в минуту моих восторгов, я был остановлен, пригвожден неожиданной встречей.

Как бы в контраст этой красивой, полной жизни природе, я увидел жалкую повозочку, затянутую рваной парусиной. В ней сидела худая женщина, а жалкую исхудалую

лошадь вел в поводу пожилой крестьянин с повязанной платком головой. Надо было видеть, что это была за лошадь и что это были за люди. И лошадь, и хозяева, кажется, одинаково были изнурены. У лошади спина представляла сплошную язву, как будто ее расклевали вороны. Тучи оводов и мух садились и бередили спину несчастного животного. Я взглянул на упряжь: она вся состояла из худых связанных веревок и мочал.

— Старина, что это ты на такой лошади едешь? Она падет у тебя, — сказал я.

— Батюшко, — отвечал он тихим голосом, каким говорят только нищие, — одна и есть лошаденка да вот и та заболела в дороге. Бабу везу больную, ходить не может, ноги распухли...

— А у тебя что голова повязана?

— От жары, батюшко, разломило.

— Что же вы не остановитесь нигде?

— Где, батюшко, остановиться-то... Надсадились. Из России шли. Пришли, кормиться нечем, все больные, так вот и побираемся мало-мало по деревням. Авось до страды промаемся, а там наймемся работать...

Это были новоселы, истощившие свои силы, надсадившиеся. Дойти до обетованной земли и среди этих привольных благословенных мест остаться нищими! Какая насмешка судьбы!

Но случается еще печальней конец. Бредет-бредет новосел за новыми местами, или ходит-ходит, мается, ищет случая приписаться, борется со старожилками, которые с него запрашивают, ходатайствует перед горными властями, землемерами, словом, ведет эту процедуру года, хлопочет, да вдруг и сгинет в этих поисках, так и пропадет, выпадет из списков, ни там, ни здесь. Может быть, он открыл, нашел таинственную землю, где можно поселиться без прописки, без паспорта, без землемера, может быть, он дошел в это мифическое Беловодье, где нет податей, а староверу и раскольнику веры не заказано. Недаром об этом Бело-

водье более ста лет слагают мифы. Но где же оно? Вот за Чергою идет ряд хребтов, вот ущелье Чуи, Чуйские Альпы, вот вершины Катуня с вечными снегами. Дойдет переселенец до них, до этих белых вод, окрашенных песком морен, увидит эти водопады, эти неприступные скалы и ущелья, посмотрит на горных орлов. Не это ли желанные белые воды? Постоит он и повернет назад. А там в горной долине, глядишь, шел капризный скиталец да вдруг заночевал. Давно полдень, солнце залило долину, печет, а он все спит. Вечер наступил, прохладой повеяло, аромат трав несется, золотятся пурпуром вершины чудных гор незнакомо края, а он все спит, не просыпается. Что ему грезится среди этих волшебных мест? Не родную ли деревню он видит и зовет из нее родню на новые места, ставит дом — земля-то какая, место-то какое, вот где отдохнуть, вот где заживешься в довольстве! Проехали мимо него промышленники, отправляясь на промысел, и, усмехнувшись, сказали: «Спит новосел!» Проскакала повозка чья-то. «Это что за человек?» — крикнул проезжий. — «Новосел спит», — сказал ямщик. А новосел так крепко и сладко уснул, что ему не нужно и просыпаться.

Смотря, как мыкается этот человек в поисках за новыми местами, смотря на это вечное скитание и отыскивание чего-то, словом, озирая всю эту бродячую колонизацию, я часто задумывался и невольно спрашивал себя: «Где же лучше?» С этим вопросом я стоял у берегов обширных и прекрасных озер на привольной степной Барабе, смотря в туманную даль плавающих в зелени островов; с этим вопросом стоял я среди цветущих боров на берегу Оби на благословенных местах Карасука; его же задавал я и там, где серебрятся вершины Алтая, любясь с высот бесконечно волнующими горами и широкими долинами; его я задаю теперь: «Где же таится крестьянское счастье, под каким кустом залегло оно, под каким камнем оно запало, скрылось, при- таилось?!»

Калмычка

Мои детские воспоминания часто рисуют мне маленького друга, о котором у меня осталось самое нежное и в то же время самое тяжелое воспоминание.

Друг моего детства не походил на других моих сверстников и товарищей. Это было существо совершенно своеобразное и оригинальное, не подходящее к окружающему его обществу, чуждое ему, существо, к которому никто из окружающих не чувствовал ни расположения, ни симпатии, но этот маленький друг был близок и полезен для меня.

Я стал помнить себя в барском доме своего отца с раннего детства на дворянском положении. Нас окружала домашняя прислуга: дворня, няня, горничные и прочие. Мы жили в маленьком пограничном городе Сибири, когда-то бывшей крепости... Но полуразрушенная крепость и заржавленные пушки, в которые мы совали тряпки и камни, уверенные, что сколько ни заряжай их, так и не выстрелят, напоминали мне впоследствии крепостницу в «Капитанской дочке» Пушкина. Здесь также все было патриархально, давно мирная крапива обвивала и застилала воинские бастионы, трубил здесь старый горнист только «на кашу», а барабан скорее укладывал спать, отбивая свою зарю каждый вечер, чем звал его на бой «война». Самые войны, бродившие здесь, были в выцветших сюртуках нараспашку, без нашивок и погонов, какие-то отставные и заштатные. К городу не подступал неприятель, но его посещали дикие сыны окружавших степей, калмыки и киргизы, прогоняя баранов, проезжая на длинношеих верблюдах за покупками, и привозили разные продукты. От этого город в моих воспоминаниях носит полуазиатский характер.

Вот в этом городе и расположилась наша семья. Отец мой занимал здесь хорошую должность, и дом наш был обставлен всеми удобствами. Папаша чем-то начальствовал — сужу по тому, что к нему по праздникам являлись какие-то жалкенькие пригнетенные люди и скромно жались к печке, ожидая выхода отца. Они выпивали в большие праздники по рюмке водки, наскоро толкали пирог в рот и, не прожевав кусок, исчезали.

Мой кругозор, как и жизнь, вращались преимущественно в детской, где я припоминаю себя сидящим на ковре и держащим в руках сломанного гусара на лошади. Мне казалось, что я никогда не был меньше, а как сидел на ковре с гусаром, так и родился. В это время подле старой няни я увидел маленькое личико, которое не походило на другие — оно было широко, уродливо сравнительно с нашими лицами, на нем были узенькие, как щелки, глазки, в которых светились угольки, волосы были черные, жидкие, щетинистые. Ее звали Калмычкой, и я научился ее так звать. Другого имени и впоследствии я не узнал, хотя она была крещена несомненно. Это маленькое, смешное и уродливое существо было поселено в нашей детской и имело обязанность помогать няньке и быть на посылках у всего дома. Самые черные и низшие услуги поручались Калмычке. Чуть работа грязна, неопрятна, всегда говорили: «Э, да приказать это Калмычке сделать!» Так на нее смотрели и домашние и прислуга. В детской няня поручала ей поправлять мою кроватку, убирать моего гусара, если я его оставлял на полу в небрежении и т. д. Калмычка была покорна и беспрекословно все исполняла. Потом я понял, что это была маленькая раба. Как она появилась у нас, об этом я узнал от няни, но потом картина дорисовалась.

Около города, бывшей крепости, кочевали калмыки. Когда у них был ужасный голод и люди умирали целыми семьями, недоставало пищи и особенно хлеба. В это время бедняки из киргиз и калмыков вывозили своих детей на казачью линию и охотно отдавали или, точнее, продавали их за мешочек муки. В городе я видел несколько таких калмычек и калмыков. Один из калмыков обрусел и, выросши, даже расторгнулся. Ходил он в сюртуке и, помню, приходил христосоваться, причем наши не особенно охотно выполняли этот христианский обряд, а отец непременно требовал, чтобы с ним перецеловались все горничные.

Моя Калмычка занимала меня более других. Находясь в детской, она разделяла все мои игры, и мы скоро сдружились. Если для всех остальных она была прислуга, то

для меня она была спутником и поверенным всех моих тайн. Ей я вверял свою драгоценность — хромого гусара, если уезжал из дому, и коня, которого непременно требовал поставить в стойку, хотя это был самый невзыскательный из всех коней на свете.

Я скоро привык к Калмычке, ее уродливое лицо не производило на меня никакого впечатления, я его находил, как и все другие лица, обыкновенным, оно было даже приятно иногда, оно смеялось, бывало пасмурно, как и у других. Я научился читать в этих глазах ласку. Калмычка разделяла все мои заботы, ибо была, во-первых, такой же ребенок, как и я, во-вторых, она не видела от меня ничего дурного. Когда ее обижали, она приходила, садилась на сундук и пасмурно смотрела. Слез я не видел у нее, когда ее даже били — так привыкла она к обидам.

Я делился с Калмычкой лакомствами за ее ко мне чувства, конечно, отдавая тем, что привлекало мой аппетит. Раз рассердившись на какую-то непочтительность ее к моему гусару, я схватил Калмычку за жесткие волосы. Она вырвалась, отошла и села на сундук, сумрачная и молчаливая. Целый час я не мог ее дозваться играть, и нас примирила только няня, сказав мне:

— Ты, миленький, не обижай Калмычку, она сирота, ее и так обижают...

— Сирота — это, значит, у нее нет папы и мамы? Да, няня? А где у нее папа и мама?

— Далеко, милый, в степях, может быть, умерли: она нам отдана.

— Зачем отдана, няня?

— А вот мы ее вырастим, замуж отдадим.

— Я не отдам, я не хочу. Калмычка моя, — заявил я, как собственник.

Проходило детство, рос я, росла и Калмычка; ее широкое и приземистое тельце становилось полнее, но рост слабо подавался — росла только голова, не терялся смуглый цвет лица. Меня начали учить, я возился с азбукой. Начав разбирать слова, я не мог не поделиться с Калмычкой. Она быстро запоминала буквы. Мне понравился этот товарищ, и я не замечал, как она быстро запоминала и усваивала. Мать, заметя раз, как Калмычка возится с моей азбукой, вырвала ее и ударила Калмычку:

— Как ты смеешь брать барича книжку?!

Калмычка села на сундук, задумалась.

Я объяснил матери, что мне веселее учиться с Калмычкой, и тогда мать стала

снисходительней, но Калмычка не брала моей азбуки в руки никогда.

— Это твое, — говорила она. — Я посмотрю издали, я понимаю.

Я начинал читать сказки и Калмычка слушала. После обеда мы уходили с ней играть в сад. Там в тени, среди чаши, я, не знаю почему, изображал из себя разбойника, никогда не готовясь к этой профессии. Калмычка должна была иногда изображать мирного обывателя, к которому разбойник вторгался, также выполнять и роль полиции, ловить меня. Сколько я помню, Калмычка была самой снисходительной для меня полицией, ибо находилась в полном моем распоряжении.

Скоро я сделал весьма приятное открытие. Мне объявили, что я с отцом еду в другой город и буду определен в гимназию, что мне дадут мундир, и я буду приезжать к родителям на лето. Это привело меня в восхищение.

— Калмычка, я поеду учиться в гимназию, мне шьют мундир, у меня будут свинцовые пуговицы... Я после, быть может, буду гусаром, — почему-то решил размечтаться я и заглянуть в блестящую перспективу.

Но как только я обнаружил такой порыв воображения, к удивлению моему Калмычка взяла меня тихо за руку, посадила в сад под то тенистое дерево, где мы играли, и, уставив на меня свои угольки, сказала:

— Нет, ты не уедешь, ты не уедешь, я тебя не пущу...

Я помню ее сосредоточенное и решительное лицо.

— Я тебя не пущу, — повторила она и стиснула мои детские руки.

— Нельзя, Калмычка! Ты пойми, что мне шьют мундир, это будет очень хорошо... В гимназии будет много товарищей, мы будем играть в разбойники. Наконец, у бабушки, где я буду жить, будут вечера, танцы. Нет, Калмычка, мне непременно надо ехать, и я хочу в гусары, я мальчик.

— Я не останусь без тебя, — сказала также решительно Калмычка.

— Куда же ты? Со мной нельзя.

— Я одна уйду, здесь не буду... — сказала она также серьезно.

Я не стал расспрашивать Калмычку, куда и зачем она уйдет, ибо нас в это время позвали.

Я уехал в гимназию, подарив Калмычке старого изломанного гусара, коробку от конфет и несколько этикеток, которые мне были не нужны. К удивлению, она не обра-

тила внимания на мои подарки, не выказала признательности... Она сидела хмурая и недовольная.

Меня увезли в гимназию. Через месяц я узнал от бабушки, что у нас по отъезде было событие. Калмычка пробовала бежать, но ее нашли. После, приехав на vacation, я узнал подробности, хотя и не от Калмычки. Через день после моего отъезда она исчезла. День ее не искали, но когда прошли сутки, за ней посланы были розыски.

В городе ее не было. Но кто-то встретил ее в степи. Это передал приехавший знакомый киргиз. Куда шла девочка, он не знал. Калмычку нашли через неделю. Она была исхудалая, дикая, и чем она питалась — неизвестно. На вопросы она не отвечала, да и никто не интересовался, что побудило ее бежать, ведь она была дикая. Калмычку больно наказали и внушили ей, что она ответственность своих хозяев, и если еще убежит, то не так с нею поступят. Калмычка смирилась.

Я застал ее выросшую, но похудевшую. Ее также заставляли выполнять все черные работы, но для праздников сшили ситцевое платье. Калмычка была покорна, но молчалива. Ее звали злющей, хотя она ничем не выражала гнева, не разговаривала с людьми, которые обижали ее, а только упорно сидела часами. К этому ребенку-рабу не проявлялось ни у кого нежности, и она сама ни к кому не питала никакого чувства. Она носила все в себе, в себе сосредоточивала. Я после только раздумывал, какое ужасное детство пережила эта детская душа, обреченная на безмолвие и одиночество.

Когда я воротился из гимназии, наши прежние отношения уже не восстановились, дружба была навсегда порвана. Калмычка даже не отвечала на мои вопросы: зачем ты бежала и как скиталась. Она смотрела на меня холодным взглядом, и угольки ее не теплились. Я не мог привлечь ее внимание даже рассказами о гимназии. Правда и то, что моя жизнь, как подросткового мальчика, уже не укладывалась в жизнь детской, она парила теперь над голубятней.

Когда мне было шестнадцать лет, я явился на vacation блестящим юношей, я похорошел, на мне был изящный мундир и даже подаренные бабушкой часы, правда, старинные, луковичной формы, но все-таки часы. Я уже танцевал и делал визиты.

Калмычка оставалась в черном теле, она слабо росла, только голова увеличивалась и скулы выдвинулись, глаза были такие же

узкие. Она теперь постоянно ходила в ситцевом платье и исполняла роль горничной. Вид ее был такой же послушный, на нее не жаловались, но она была также дика и молчалива.

Раз я присутствовал при следующем разговоре отца с матерью, и таким образом был свидетелем, как решалась весьма важная минута в жизни моей прежней любимицы.

— Иван у нас решительно выбился из рук, — говорил отец о нашем кучере, старике лет пятидесяти с лишком, который был верным слугой, хорошим конюхом и у которого был один недостаток: в праздничные дни в самую нужную пору он не мог запрячь лошадь. Не то что не хотел, он ужасно хлопотал, выводил лошадь, тащил сбрую, но лошадь у него не попадала в оглобли, хомут одевался сзади. Словом, все не ладилось, чем больше он усердствовал. В это время он был красен, пыхтел, был чересчур разговорчив. В то время, когда он сердился, негодовал, меня забавляло слушать уверения Ивана в том, чтобы господа не беспокоились, что он заложит лошадь лучше, чем когда-либо и при этом брал ту или иную неподходящую вещь, проводил не туда лошадь и беспрепятственно спотыкался на оглобли. Иван позволял себе в праздничные дни после обедни быть «у праздника». Впоследствии это развилось у него в запой. Отцу не хотелось прогонять Ивана, он был хороший кучер, когда бывал трезвый. Наконец у отца явился остроумный план.

— Знаешь что, — сказал он моей матери, — я думаю нужно, чтобы Ивана взяла в руки какая-нибудь баба и не давала ему так погуливать. Я придумал его женить.

— На ком? — спросила изумленно мать. — Кто пойдет за Ивана?

Отец загадочно улыбнулся.

— Я думаю, — сказал отец, — женить его на Калмычке. Она молодец, с характером, с ним управится. Мы потребуем, чтобы она исправила Ивана. Ведь Калмычку все равно никто не возьмет замуж...

— Но ведь он стар, — сказала мать.

— Пустяки! — сказал отец. — Тут ведь не для детей брак, не по привязанности. Он смирный мужик, но его надо подтянуть.

Почему отец решил, что жена исправит Ивана, я не знаю. Я не мог вмешиваться в этот интимный щекотливый разговор. Знаю, что по отъезде моем Ивана женили на Калмычке, представив ему все выгоды этого брака. Знаю, что Иван был в день брака в новом кафтане, что он был жестоко пьян, был пьян и на другой день, и Калмычка

запрягала за него лошадь. Весь вопрос был у нас в хозяйстве — запрячь лошадь: отец сам иногда правил.

Иван, оказалось, не только не исправился, но загулы начали повторяться чаще. В это время он Калмычку не звал иначе, как «черт», «дьявол», «калмыцкая харя» и т. п. За все это она должна была выполнять его обязанности. Наконец, раз решили нарядить Калмычку кучером, отдали кафтан, надели шляпу. Сначала расхохотались этому маскараду, но посадили на коня, и ее было трудно отличить от мужика калмыка, так как последние были тоже без бороды. Словом, это был калмык-парень, какие и у других служили в кучерах. Так Иван передал свою профессию жене, а сам только дирижировал и иногда подходил потрепать коня. Отец пробовал давать нагоняи Ивану, но он опустил совсем. Ему перестали давать жалование, а только кормили. Изредка рубль давали Калмычке.

Прошел год. Я приехал прощаться с домом, с родителями. Я должен был ехать в столицу. Обошел сад, был под той черемухой, где мы в детстве играли с Калмычкой.

Где же она?

Я вышел из сада и встретил работника.

— А что, Калмычка все кучером ездит?

Работник взглянул на меня вопросительно.

— А вы разве, барин, не знаете?

— Нет, ничего не знаю.

— Ведь она удавилась.

— Как так?

— Очень просто. Иван-то стал было ее поколачивать, известно, пьяный человек. Вот мы приходим раз в завозню, смотрим — она, горемычная, на вожжах висит, значит, через пряслину-то, где сеновал...

Я перестал слушать и вернулся в сад. А родной сад так же шумел, и все мне в нем веяло детством, свежими цветами, первыми впечатлениями. Тогда передо мной встало опять это милое уродливое личико ребенка с маленькими угольками, которые смотрели на меня с любовью и лаской. Руки ее крепко держали мои детские руки. Теперь только жалость шевелилась в моем сердце, и я почувствовал как бы упрек за то, что я не отплатил ничем бедной Калмычке за ее ласку во время моего детства.

Мне хотелось сходить на ее могилу. Но что скажут обо мне окружающие, если я пойду ее отыскивать? Я должен бояться показать ей сочувствие даже после смерти. Я, единственный друг ее, должен был скрыть свое человеческое чувство к ней.

Когда в альманахе «Алтай» печатался роман И. П. Кудинова «Стихия», было немало высказываний литературных критиков и читателей о том, что материал романа устарел, что по этой причине роман надо было или раньше печатать, или не печатать вовсе.

Действительно, на первый взгляд кажется, что сегодня уже не надо возвращаться к вопросам, поставленным в романе. В наши дни и отношение к трудам и опытам Терентия Семеновича Мальцева устойчиво положительное, и стопроцентное отрицание травополя осуждено. Вот почему сокращенный вариант романа, в котором обо всем этом идет речь, и мог восприниматься как печатающийся с опозданием.

Но вот перед нами сборник И. Кудинова, вышедший в 1977 году в издательстве «Современник», состоящий из полного текста романа и нескольких рассказов. И чем внимательней читаешь теперь роман, тем больше убеждаешься в правоте автора, опубликовавшего сейчас произведение о трудных буднях целинной степи конца 50-х—начала 60-х гг.

«Стихия» — произведение не только «об освоении почвозащитного земледелия в степной зоне»¹, оно еще о жизненной позиции, о нравственных ценностях. Поэтому в романе, кроме событийного сюжета, преодоление последствий пыльной бури, развивается еще один сюжет — нравственно-психологический.

На совещании в Приобском обкоме главный агроном коммунист Забродин, человек «завидного самообладания, спокойствия и твердости», отстаивал свою точку зрения «относительно дифференцированного подхода к обработке степных земель», а первый секретарь Степного райкома Кручинин «просидел, будто воды в рот набрав, ни за и не против не подал голоса», хотя и понимал в глубине души правоту Забродина. Не пошел Кручинин против всеильного директора НИИ сельского хозяйства Антонока, отстаивавшего распашку степных земель «от горизонта до горизонта», предлагающего пастбища в Сибири ликвидировать...

¹ Здесь и дальше текст романа цитируется по книге И. Кудинова «Стихия», изд. «Современник», М., 1977 г.

Л. МУРАВИНСКАЯ

СТИХИЯ И ЛЮДИ

«Не подал голоса» и секретарь обкома Скопов.

Когда-то, весной тридцать девятого, начальник политотдела МТС Скопов поддержал молодого, энергичного инженера облземотдела Забродина, запретившего проводить «сверххранний» сев. Теперешний секретарь обкома Скопов правильно требует от своих подчиненных самостоятельности, инициативы, но сам неоправданно долго не может принять решения, так же, как и Кручинин, оставляя Забродина без поддержки. Больше того, теперешний Скопов отказывается и от своих собственных достижений во имя господствующей в данный момент «официальной линии». Лишь райкомовский сторож Федосеич посеял «в укромном уголке» элитный овес, который «Скопов-то, будучи агрономом... улучшил... применительно, значит, к нашим сибирским условиям». «А теперь, выходит, отрекся», — замечает тот же Федосеич.

Не только засухи и пыльные бури угрожают целинным полям, но и еще одна стихия — осторожность, похожая на самосохранение, нерешительность, а то и просто нерассуждающее послушание, такое, например, какое свойственно редактору районной газеты: он мог «с легкостью необыкновенной... отказаться от любого начатого им дела или повернуть это дело на сто восемьдесят градусов, если того захочет вышестоящий товарищ...»

Редактора дополняет секретарь из Сунгая, о котором знали: «...если прикажут посеять бобы в смеси не только с горохом, а и с хреном — посеет».

Но вот ведь в чем дело: и сунгаевский секретарь «будет потом где-нибудь... в уголке... разосеять в пух и прах тех, кто связывает по рукам и ногам инициативу районщика...», и редактор «человек... умный и инициативный», знающий свое дело идеально. А уж в Кручинине и Скопове — главных героях романа — читатель видит ряд таких черт, которые не позволяют сомневаться в их прирожденной порядочности, а также в способности к решительному действию, соединенному с активной, целеустремленной мыслью. Например, о Кручинине в романе сказано, что он был человеком дела. О Скопове, — что он принадлежал к сильным, знающим себе цену людям.

То есть не карьеристам, не приспособленцам каким-нибудь принадлежит способность острого молчания, а в общении, людям честным, стремящимся как можно лучше выполнить свой служебный долг.

Проще всего было бы сделать вывод об авторских противоречиях: дескать, приписал героям взаимоисключающие качества. Но нет в данном случае противоречий, а есть последовательное изображение «стихии» общественной инерции, делающей сильного человека нерешительным, более слабого — до нелепости послушным. Необходимость преодоления такого рода инерции отчетливо осознается, когда встречаешься в романе с фактами не только индивидуального, но и массового, неопределенного поведения. Вот снова выступает Забродин, снова последовательно отстаивает свою точку зрения, правильность которой становится все более очевидной. И вот как реагируют на его выступление участники областного совещания: «Шум в зале стоял невообразимый, когда Забродин сказал, что...безоглядное уничтожение трав... может повлечь за собой опасные последствия...»

...кто-то в дальнем углу даже похлопал не то одобрительно, не то насмешливо.»

«Не всегда лобовая атака приносит успех, — прислушиваемся мы к внутреннему монологу Скопова. Верно, и в обход иной раз наступать приходится, но ведь одно дело тактика в бою с врагом, и совсем другое дело — сделка с собственной совестью, переход за ту грань, когда так-

тика на обкомовском совещании превращается в неотъемлемое качество личности, становится нравственным потенциалом, своего рода беспринципностью во имя принципа.

«Стихия» интересна уже своим авторским стремлением показать одно из тех социально-нравственных и психологических явлений, которые тормозят современное общественное развитие. Процесс преодоления данного явления в романе скорее лишь намечен, чем последовательно развернут. Но стоит проследить, как именно намечен.

В начале романа Кручинин лишь наедине с собой «глубоко переживал и страдал по-человечески, если верх брали осторожность и нерешительность». Но затем он делится своими мыслями и сомнениями с Забродиным, постоянным своим оппонентом Кусакиным, наконец, со Скоповым. Важнейший для Кручинина шаг, который автор приберет к финалу романа, — усыновление мальчика Егорки. Пусть произошло это решительное действие в сфере, так сказать, личной, но важен серьезный поворот в характере и поведении героя И. Кудинова.

Очень значителен в романе «ночной разговор» Кручинина и Скопова, в котором оба с беспощадной откровенностью анализи-

руют стиль своей партийной работы.

Мы не видим в «Стихиях» новых, совсем изменившихся Кручинина и Скопова, это была бы, как сказал однажды Достоевский, «совсем другая повесть». Но мы ценим и с интересом воспринимаем процесс возвращения личности к лучшему в себе, наблюдаем активизацию мыслей и поведения героев, постижение ими того, что личностное человеческое достоинство — феномен общественный, социальный.

Рассказы в сборнике «Стихия» подобраны удачно в том смысле, что являются продолжением социально-нравственного содержания романа, хотя сюжетно с ним не связаны.

В романе есть главы-воспоминания. Среди их героев особенно выделяется Тимофей Красилов. Жизнь его была примером той активной доброты, которая сродни подвигу и способна стать источником формирования высоких нравственных идеалов у современников и последующих поколений. Родня по духу герою романа Тимофею Красилору героиня рассказов: «загадочный» Бухон, ставший причиной нравственных открытий, сделанных его юным односельчанином, Мишка Дронов, который «с гранатой под танк кинулся», дед Савушка, умеющий

в повседневном увидеть поэзию.

Взятые вместе, рассказы стали развернутым финалом книги, связывающим современность с прошлым нашей страны, раскрывающим тему духовной связи поколений.

К сожалению, не все совершенно в книге, имеющей важную современную проблематику. Прогрывает стиль романа в сравнении со стилем рассказов. Ряд образов интересно намечен, но они не получили должного художественного развития. В особенности это досадно по отношению к Кусакину, которому автор доверяет сказать об обязанностях коммуниста. Многие важные в идейном отношении персонажи почти лишены внутреннего мира. Например, читатель так и не узнает, что значит для послушного редактора его: «Хорошо, так и сделаем!» Достигается это ценой внутренней драмы или, напротив, объясняется поверхностностью натуры?

Не хотелось бы заканчивать этими «горестными заметками» наши размышления о книге интересного, серьезного автора. Вернемся в заключение к тому, что «Стихия», безусловно, очень значительная книга, в которой автор сумел поставить важные для нашего времени как экономические, так и духовные проблемы.



Георгий РЯБЧЕНКО

МАЛЕНЬКАЯ СКАЗКА О БОЛЬШОЙ ДРУЖБЕ

В одном озере жили и крепко дружили Весёлый Лягушонок и Добрый Карасик. Все, кто жил в озере, любили их за веселый нрав, задорные песни и душевную доброту, называя ласково Весёлого Лягушонка — Весёля, а Доброго Карасика — Добкой.

Друзья почти всегда были вместе, и когда настроение у них было хорошее, распевали свою любимую песенку. Вот эту:

Жить милей на белом свете,
Если рядом друг живет.
Сразу солнце ярче светит,
Чаще теплый дождь идет.
Наша дружба крепка —
Пополам червяка,
Радость, грусть — пополам.
Позавидуйте нам!

Им завидовали. Особенно Завистливая Жаба и Драчливый Рак с одной клешней. Спали и во сне видели, что наконец-то удалось поспорить друзей. Но... наступало утро, и Весёля с Добкой снова были вместе.

Однажды на озеро спустились Серые Цапли. Добрый Карасик в это время добывал вкусных личинок у Тростникового Мыса и немножечко грустил, потому что рядом не было Весёлого Лягушонка.

Я личинок ищу
И немножечко грущу:
На зеленый бережок
Ускакал опять дружок,

— тихонько напевал Добка и даже не подозревал, какая беда была почти рядом.

А Весёлый Лягушонок, который не умел грустить, прыгал среди цветущих трав, ловил мошек и тоже пел, но веселую песенку и такую звонкую, что не услышал шелеста разбойничьих крыльев.

Хорошо на берегу!
Ква-ква-ква, ква-ква-ква.
Мошек здесь ловить могу,
Ква-ква-ква, ква-ква-ква.
Если встречу червяка,
Ква-ква-ква, ква-ква-ква,
Угощу червем дружка —
Ква, ква-ква.

Серые Цапли выстраивались полукругом на мелководье, готовясь к охоте.

Мы, Серые Цапли,
Голодные цапли,
В желудках у нас
Нет ни крошки, ни капли.
Но мы наедемся
Сейчас лягушат.
Они в этом озере
Просто кишат.

Когда огромная, с кривыми когтями, лапа опустилась рядом в ил, Добка отплыл немного в сторону. Он был маленьким Добрым Карасиком и знал, что таких больших лап надо опасаться.

Но когда увидел, как страшный клюв выхватил из воды глупого незнакомого лягушонка, Добка понял, что пришла страшная беда и надо спасаться. Спасаться самому и спасти Весёлю. Весёля может греться

на Высокой Кочке и попасть в беду. Скорее туда. Скорее!

Добрый Карасик, прижимаясь к самому дну, отплыл в сторону и золотой стрелой помчался, огибая Цапелю, к Высокой Кочке. Вот она с каждым мгновением все ближе и ближе. Добка высунулся из воды, увидел траву на вершине кочки и замер: прямо перед ним противно ухмылялась Завистливая Жаба. Рядом, подняв единственную клешню (вторую оторвали в драке), приготовился к нападению Рак.

— Пропустите меня! Пожалуйста! Там — Весёля. — Попросил все же добрый Карасик. — Цапли скоро будут здесь. Пропустите!

— Не пуцу! — змеюю зашипела Жаба, и длинный язык ее затрепетал, будто и вправду мог ужалить. — Пусть цапли слопают его за неуважение к старшим.

— За свои песенки, которые противно слушать! — забулькал Рак.

Добрый Карасик хотел крикнуть «Спасайся!» Весёлому Лягушонку, но Жаба, которая караулила каждое движение Добки, ударила по воде лапой. Добка от неожиданности чуть не захлебнулся. Жаба и Рак смеялись — по воде шли круги.

— Я так бы не сумел! Единственной клешней клянусь! — похвалил Жабу Рак. — Ну, как? Успокоился? Или клешни моей отдавать хочешь?!

Добрый Карасик чуть не плакал от бесилия.

«Эх, если бы я умел по земле ходить! Тогда неповоротливая Жаба была бы не страшна мне, а Рак — и подавно», — горестно подумал Добка. — «А что, если попробовать?! Пусть лучше задохнусь от жаркого воздуха. Пусть! Зато буду знать, что все сделал для спасения друга».

Жаба и Рак, когда увидели, что Добрый Карасик повернул назад, стали насмехаться над ним, обидными словами обзывать. Они даже подумать не могли, что Добка отплыл для разбега. Когда он, перелетев через них, далеко выбросился на пологую часть Кочки, Завистливая Жаба и Драчливый Рак только рты раскрыли. Потом переглянулись.

— С горя ума лишился, — хихикнул Рак.

— Теперь обоим крышка, — заколыхалась от смеха Жаба.

Но рано смеялись они, не познавшие силы настоящей дружбы.

Обдирая о сухие травинки бока, теряя золотистые чешуйки, Добрый Карасик изгибался всем телом и упорно двигался вперед, к вершине Кочки.

Поздно спохватились Жаба и Рак, поздно в погоню бросились.

Достиг вершины верный друг Добка и хотел предупредить Весёлю, но увидел, что Кочка пуста, и упал без сил. Не видел он, как из-под Кочки свечой взмыл Весёлый Лягушонок, спеша сам на помощь другу; не чувствовал, как Весёля схватил его и нырнул с ним в воду, чтобы спрятаться в пещерке.

— Держи их! — завопила Жаба.

— Лови! — заорал Рак.

Занятые погоней, Жаба и Рак не заметили, как на Кочку легли две длинные тени. Раздался скрежет клювов.

— Крак! Крак! — И Жаба повисла вниз головой, схваченная за задние лапы. Цапли были разозлены неудачной охотой и к тому же так голодны, что не побрезговали даже Жабой.

— Я — невкусная! Я — в бородавках! — заплакала Завистливая Жаба. — Лучше Рака съешьте. У него шейка нежная, вкусная.

— Замолчи, подлая! — Рак вцепился клешней в жабий рот.

— Крак! — щелкнула клювом одна из Цапели, и Рак лишился последней клешни. Не страшный теперь никому, оглушенный болью, он медленно погрузился на дно.

О Завистливой Жабке, которой пообедали голодные Цапли, никто даже не вспомнил.

Добка, отлежавшись в пещерке, вскоре поправился. Его путешествие по Кочке с гордостью вспоминалось всеми. Говорят даже, что с той поры караси по суше двигаться научились. А Весёля в честь друга сочинил песенку, в которой был припев:

Не испугали Добку Жаба,
Драчливый Рак, трава и зной.
Он — самый верный, самый храбрый
Друг из друзей.
Он — наш герой!

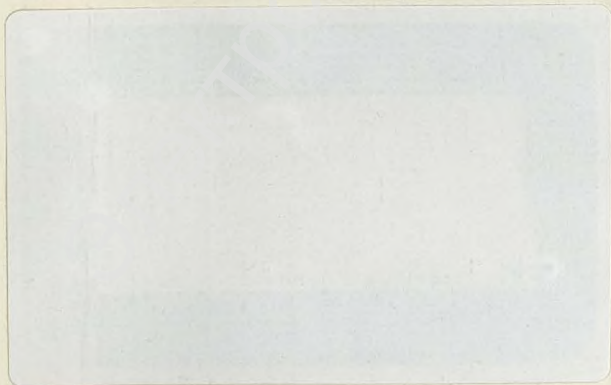
И снова друзья были вместе. И всем, кто был рядом, Весёля и Добка пели свою любимую песенку, в которой изменили всего одну строчку. Последнюю.

Жить милей на белом свете,
Если рядом друг живет.
Сразу солнце ярче светит,
Чаще теплый дождь идет.
Наша дружба крепка —
Пополам червяка,
Радость, грусть — пополам.
Наш совет добрый вам:
Ищите друзей!

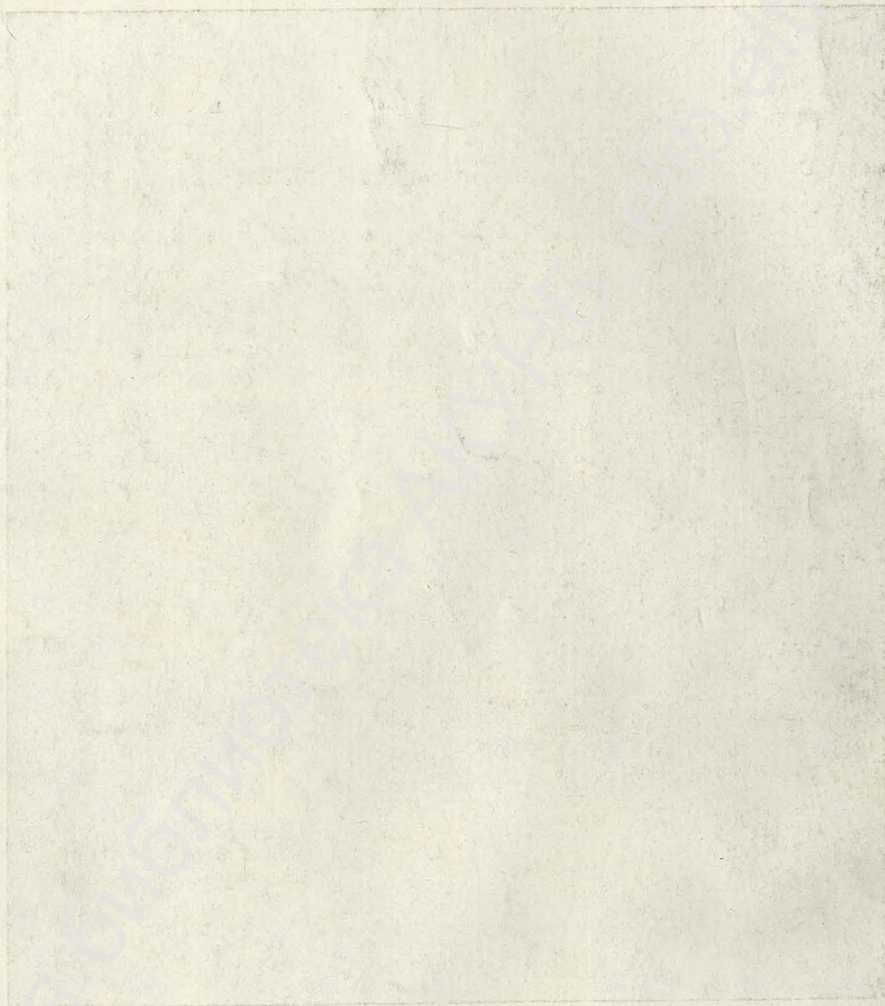
А ты имеешь друга?



М. БУДКЕЕВ. «В гостях у бабушки». Х., м. 1976.



40 коп.



Электронная библиотека АИИИИ

